

ВСЕ

ЛЕСТНИЦЫ

ВЕДУТ * ВНИЗ

ОЛЕГ ЧЕРНЫШЕВ



СОДЕРЖИТ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
В П. А. Н. Б.

18+

Annotation

Мир Ани – это ржавая с кровью тесная банка с голодными пауками. Мечта Ани – свесить ноги над зияющей бездной, взглянуть в ее жадную пасть и увидеть свет там, где его никогда не было и не может быть вовсе. Желание Ани – взобраться на груды мертвых насекомых и станцевать веселую мореску под полной Луной. Она – циничная эгоистка, манипулирующая окружающими и не прощающая ни единой обиды. Она та, кто наконец зажечь огонь там, где его никогда не было и не может быть вовсе.

Олег Чернышев

Все лестницы ведут вниз

Это было утро студеного, очень морозного дня. Как сейчас помню – третье февраля и температура за тридцать, а небо светлое, белоснежно-голубое. И такого чистого своим свечением солнца я не припомню за все годы своей жизни, хотя с детства имею привычку вглядываться в небо, как дневное, так и ночное.

Невозможно было стоять на улице – ноги замерзали мгновенно. И тогда я впервые за все свои годы посетил не только наш местный храм, но и церковь вообще. Не сказать, что я не верующий, но и верующим назвать себя – язык не поворачивается. Но церковь наша прекрасна! Скажу только, что хотя она и одна на весь наш маленький городок, но постройки старинной. С одним золотым куполом высится прямоугольная над улицами города, и белая, со всех стен каменной резьбой смотрит на прохожих пророками и апостолами давнешних времен; различными библейски сюжетами, некоторые из которых даже я различал.

Помню еще, тогда мысль меня посетила, как эти сухие, чуть ли не переламывающиеся пополам бабушки открывают эту тяжеленную дверь. Мне самому пришлось рывком дернуть рукой, чтобы наконец сдвинуть эту неповоротливую махину.

В притворе храма я очутился как в тени, зато сразу был – как это говорится – восхищен увиденным за проходом, отделяющим затемненный, исписанный в стенах и потолке притвор с основной частью храма – даже не светлой как на улице, а сияющей, особенно блестящей золотым иконостасом, казалось, упирающимся в самый потолок. Но когда я прошел через проход, то увидел, что высота храма столь же огромна, насколько ослепляюще-белые его чистые стены.

Не видевший ранее такого живописного убранства и тотчас растерявшись увиденным, мой взгляд не останавливаясь бегал от исписанных стен храма к его колоннам, увешанным богато украшенными старинными иконами. Потому я не сразу заметил поодаль от меня и вблизи иконостаса высокого пожилого священника с длинной седой бородой, в черной рясе и позолоченной епитрахиле, а также молодого – как я понял – диакона, а с ними хорошенькой девушки с младенцем на руках.

Я подошел поближе, потому что мне стало очень интересно происходящее, но все равно, чтобы не мешать, я старался держаться стороной. Ведь я не имею никакого отношения к свершаемому и даже не сразу понял какое тогда происходило действие. К тому времени, девушка с младенцем на руках заканчивала читать – как я потом узнал – символ веры.

– Чаю воскресение мертвых, и жизни будущего века. Амин, – закончила она как будто напевая.

Священник отошел от аналоя, на котором лежали большой крест, обрамленная в углах Библия и требник. В его руках уже была елейница с длинной кисточкой, заранее подданные диаконом. Кисточкой он макнул в елейницу и три раза перекрестив провел ею по воде в около стоящей сверкающе-серебристой купели, а потом направился к младенцу, который тихонько лежал на руках – заметно – очень любящей матери. Видно, что девушке было тяжело оторвать взгляд от своего ненаглядного дитя. Вообще, надо сказать, что более всего вид такой милой лицом матери и не без преувеличения красивого, спокойного дитя не ее руках больше всего меня тронул той минутой. Я и думать забыл о происходящем, о живописной красоте и убранстве храма, в котором находился впервые. Наслаждался я только красотой матери с младенцем на руках, и не лишнее добавлю, что в этом есть что-то

невероятное, что-то особенно святое, которое не изобразить ни на одной иконе и ни в каких сказаниях не описать, какой бы гений не принялся за эту неосуществимую задачу.

Удивительно, но когда священник потянулся кисточкой к младенцу, дитя протянуло ручки вперед, как будто желая быть помазанным елеем. Ребенок, наблюдая за священником, касающегося кисточкой его лба, ушей, груди, ручек и ножек, все это время негромко смеялся, весело обнажив розовые десна. Священник сам улыбнулся младенцу, а потом приблизился и что-то шепнул на ухо его матери, от чего та расцвела в улыбке.

Я не заметил как ребенок перешел в руки священника – такая была обворожительна эта улыбка, но я никогда не забуду произошедшего после. Священник три раза опускал дитя в купель, громко, распеваячи произнося:

– Крещается раба Божия – Агния, во имя Отца и Сына и Святаго Духа., – и словно стены храма еще больше озарились в раскате чудесного смеха младенца; таким – не много сказать – чистым и поющим, будто бы даже что-то возвещающий нам, тяжелым, земным людям, которым таких прозрачных, витающих высоко над головами посланий никогда не понять. Я до сих пор с замиранием сердца слышу этот необыкновенный смех и никак, к большому сожалению, не могу его описать.

Но тогда не я один расслышал нечто чудесное, сорвавшееся с губ крошечной Агнии. Все замерли, а священник, казалось, затоил дыхание, прислушиваясь к голосу дитя, пока по маленькому телу его медленно стекают крошечные капли воды и падают обратно в купель.

И только когда маленькая Агния остановилась в своем ярком смехе, но продолжала улыбаться иконостасу своими розовыми деснами, священник передал ее около стоящему диакону с белоснежным полотенцем на руках, в которое девочка сразу же была окутана. Как очнувшись, священник продолжил начатое им нараспев.

– Ныне и присно, и во веки веков. Аминь, – и незамедлительно обернулся к царским вратам. Он с благоговением, словно только что свершилось большое чудо, по три раза крестят совершил три земных поклона, а потом обернулся к матери славной Агнии и громко сказал:

– Благодарите! С сегодняшнего же дня благодарите Господа, Дарья.

*Я поделюсь с тобой секретом.
Только молчи. Никому не говори.
Мы забыты всем белым светом,
Как в банке голодные пауки.
Знаешь? – они жрут друг друга.
Я не вру! Так оно и есть!
Ты оглянись! Ты послушай!
Чем люди отличаются от них?*

Из ранних записей Воскресенской Ани

1

Дождь пошел еще среди ночи. Начиная стучат грузными, тяжелыми каплями по крышам старых домов, он быстро перешел в оглушающий ливень. Аня любила дожди, как теплую весну и прохладную осень; не жаркий зной, ни холодная стужа никуда не торопят – хоть весь день проводи на улице, гуляй одна, сама по себе, и никто больше не нужен. Лучше дождя только морось – когда идешь, невидимые капли облипают лицо. В этом есть что-то особенное, как думала Аня, что-то отличное от другой погоды. Морось как на стыке времен – в ней таятся перемены. В дожде нет перемен, в нем другая загадка – он существует будто бы для того, чтобы очистить землю и всякий раз делает это снова и снова, не прекращая попыток, но ничего у него не выходит. Какова же его скорбь, когда всякий раз, при каждой новой попытке он замечает, что земля не стала чище! Но каждый раз он собирается вновь, набирает силы и пробует снова – в этом его загадка и его трагедия.

Какой бы ни был дождь – он всегда на благо. Чем сильнее он, тем добрее и искреннее. Осенью он лучше всех – он самый отчаянный. Все уже сдалось, примирилось и готово уснуть в тревоге – в ожидании сковывающего мороза. Печальная листва смиренно желтеет и опадает, в стыде своем краснея из-за бессилия – за прежнюю гордость. Могучее солнце вновь посрамлено перед отнюдь не всемогущим, ограниченным и зависимым, но упорным, отчаянным и не сдающимся ненастьем. Солнце, как все на свете повидавший старик, все скорби и ужасы людей – смеется над ливнем за его наивность и радуется его юношескому порыву, мечтающим исправить ошибки стариков.

Но этим днем ливень не собирался омыть землю; он уже не столь наивен и не думает, что сможет смыть грязь с круглой земли. Он, словно разозлившись за свою прежнюю глупость, за тщетные свои попытки, стал хлестать землю, ненавидя и презирая ее, усматривая в ней отражение своего упорства. Решил он, что не милостью, так хлыстом можно поправить дела людей. А солнце, спрятавшись за тучами, все смеется, ведь и то было испробовано тысячи и тысячи раз.

Стоя под козырьком подъезда своего дома, Аня, прислушиваясь к неистовому грохоту, весь его гнев принимала на свой счет, будто в ненастье ее и только ее вина, и больше никого. Она виновата, что дождь не желает более вымывать грязь с земли, сделать ее чистой и

благородной; она виновата, что он, разочарованный, взялся за хлыст, словно мелочный человек, который зная, что если ничего не изменит, так хотя-бы побьет.

Вопреки и назло Ане, насмехаясь над ней, дождь захлестал землю сильнее, что есть мочи, словно долго копил силы и наконец обрушился, считая свой гнев справедливым. Порывистый ветер яростно подтолкнул Аню, подняв вверх ее небрежно остриженные до плеч и окрашенные в черный цвет волосы, в корнях которых просвечивался ее натуральный – огненно-рыжий. Озлобленно, будто Аня и вправду виновата за все пороки мира, толкнул ее в грудь, обдал сырым ветром ее лицо и забравшись за воротник куртки, насмешливо обнял в ознобе ее плечи.

Аня застегнула молнию до конца, до самого горла, но ворот все равно оставался открытым. На ней была старая, изношенная, темно-зеленная по поясицу куртка с карманами на груди и рукавах. Осенне-весенняя куртка, но в такой ливень едва ли выдержит всепроникающую влагу – слишком тонкая и легко промокаемая, как и ее капюшон, который Аня накинула на голову.

Поняв, что стоя на месте она ничего не выигрывает, а идти все же придется, Аня, перешагнув через две ступеньки, тут же оказалась в луже. Она и забыла, что любимые высокие ее ботинки потрескались в подошве и теперь надо бы смотреть, куда ступаешь. Холодная вода просочилась внутрь и впиталась в носок, теперь неприятно прилипший к пальцам ног. Аня, стоя под дождем и глядя на свою правую ногу, поморщилась и вспомнила, что с левым ботинком дела обстоят не лучше. Обидно, ведь это ее любимые ботинки – где она в них только не ходила. Раньше никакие сугробы, зимняя слякоть и осенние дожди не стесняли ее шага. Пожалуй, это была лучшая ее находка, сравнимая только с выкидным перочинным ножом. Даже куртка, имеющая столько преимуществ в карманах, за исключением ее неустойчивости к влаге, не была на столько цена Ане.

Для маленького роста девочки, которой только исполнится пятнадцать лет, Воскресенская обладала завидной решимостью. Такими вещами, как промокнуть и продрогнуть Аню не проймешь. Если она решила идти, то пойдет при любых обстоятельствах – назло всему, даже вопреки себе самой, но обязательно сделает задуманное. Это в ее характере!

Дождь стучал по увесисто набитому серебристого цвета рюкзаку, натянутом на спину Ани и потертой на поясе черной сумки лямкой через плечо с изображением маленькой белой птицы в уголке ее передней стенки. Ливень насмешливо испытывать на стойкость ее куртку и капюшон, который в три минуты сдался.

Девочка шла опустив голову и глядя себе под ноги, по возможности перешагивая множество луж на своем пути; перепрыгивая стремительные ручьи. Она все еще надеялась, что может хоть как-то спасти свои ноги от противной сырости. Такого неприятного ощущения в своих ступнях Аня не испытывала с мая прошлого года, когда ее, в футболке, джинсах и кроссовках, посреди улицы застал проливной дождь. Тогда она поняла, что нет ничего противнее, чем сырые ноги.

Холодные капли скатывались по ее щекам, по лбу, задерживались на ресницах и губах, а с носа, казалось, льет непрерывной струей. Приходилось каждый раз поддегивать головой, чтобы стряхнуть с лица неприятно щекочущую влагу, непрерывно поливающую ее промокшую голову. Вскоре Аня поняла бесполезность всех своих нехитрых маневров и прыжков через лужи и ручьи – в ботинках уже был свой паводок, циркулирующий по ступням от пяток до пальцев ног и обратно. Теперь ее шаг стал решительнее и быстрее; она

уже не думала куда ступать, где можно провалиться подошвой, а где лужа не столь глубока. Смирившись с неизбежным, Аня наступала куда попадет, иногда проваливаясь в воду по самую щиколотку; тогда паводок в ботинках заметно пополнялся, но разве теперь это могло ее расстроить? Потертые до бела, немного обвисшие синие ее джинсы, стали прилипать к коленям и голеникам, стесняя шаг.

Спустя несколько минут, через дворы и переулки, огибая дома, перепрыгивая через заборчики площадок и протискиваясь между гаражами, Аня уже изрядно замерзла. Полностью промокнув, она, и без того худенькая девчонка, совсем мелкая и выглядевшая скорее лет на тринадцать, чем на свои четырнадцать, скукожилась, как брошенный на улице котенок. Кулачки в холодных карманах, локти прижаты к бокам, голова опущена, плечики подняты к щекам. А ветер все напирал – испытывал на стойкость, будто бы и без того ее несчастный вид не давал повода прекратить эту пытку. Но Аня хоть и худа и хрупка, но девочка стойкая, сильная характером; ее зеленые глаза с образовавшимися под ними мешками смотрели устало, но как всегда – целеустремленно. Ее неизменно насупленные на глаза редкие брови – теперь окрашенные в черный, – с образовавшейся складкой на переносице, только подчеркивали упорство ее непростого характера.

Вскоре Аня вышла на Парковую улицу, где располагалась единственная школа этого маленького провинциального городка. Сутулясь, дрожа от холода и не поднимая головы, а только повернув ее немного вбок, она, пройдя мимо главного входа школы, начиная от дверей стала отсчитывать окна первого этажа. Встав напротив пятого окна, как было видно, пустующего кабинета, она сняла с плеч свой рюкзак и отошла на несколько шагов подальше. Ухватившись обеими руками, она с силой и разворачиваясь телом, кинула его, разбив стекло. Увесистый рюкзак, ударившись об парту, глухо свалился на пол. Почти беззвучно посыпались осколки стекла, заглушенные шумом дождя.

Ничего не ожидая, Аня, сложив руки в промокшие карманы куртки, пошла себе, как и шла до того ранее – не быстрее и не медленнее. Самое страшное для нее сейчас – это ливень; и ветер – его злой спутник в этот день, такой же обозленный, насмешливый и разочарованный в собственном бессилии.

Зайдя за школу, Аня присела на пустующей – как и весь город – остановке. Под ней хотя бы не льет и можно передохнуть от надоедливой, всюду проникающей сырости. Достав из пачки сигарету, Аня с нескольких попыток, прикрываясь руками, подкурила ее, выпустив серый дым вслед за ветром.

Хотелось подумать, как начать, когда она придет в кофейню. Ведь буквально с час назад все казалось очень просто, теперь же настала очередь сомнениям. Не тем сомнениям, что могут поколебать в решимости – обратного пути у нее нет: либо так, или снова стать жертвой нависшей над Аней злой ухмылки Судьбы. Но этого не будет, вновь не повторится. Никогда! Только так, не иначе. На крайний случай Аня просто уедет из этого города; заберет Астру из собачьего приюта и пойдет куда вздумается. Но задуманное уже не казалось так легко осуществимым, как представлялось это ранее – даже видится теперь сомнительным.

Холод сотрясал ее тело, да так, что с трудом хваталась губами за кончик сигареты, чтобы сделать очередную затяжку. Думать не получалось – холод сковывал не только тело и руки, но и мысли. Бросив сигарету не докурившей в лужу, где она моментально угасла, Аня быстро встала и поправив свою сумку с бока на спину, скорым шагом направилась дальше.

Улица Каменная, на которую вскоре вышла Аня, пролегала таким образом, что круглый год и каждую минуту суток по ней непрерывно носились ветра, иногда игривые, веселые, а

порой, как сейчас – лютые и назойливые. В эту погоду, когда ливень, ветер то и делал, что зло насмеялся над Аней. Он словно озлоблен слишком задержавшимся летом и заигравшись в своей ярости, подыгрывал осадкам. Одно хорошо – идти осталось немного: кофейня по правую сторону этой улицы.

«А если еще не открыл?» – спросила себя Аня. «Сегодня воскресенье, в девять может не открыть», – нагнетала она. Если так, то это совсем не хорошо – очень не хорошо. Придется ждать, а переждать негде, только если под деревьями, рядом выстроившимся по тротуарам улицы. Они сами стоят беспомощные, волнуемые стихией, продрогшие, не в силах более сдерживать осадки на своих ветвях; даже листья спешно опадая, оставляют – не жалея – своего родителя, медленно превращающегося в уродливый каркас. Перед дождем они бессильны, не говоря уже о неумолимом ветре.

Решила Аня, что совершила ошибку, поторопившись выбежать из дома, но ведь там ей покоя нет. Есть преимущества всей этой непогоды – она отвлекает от мыслей одиночества; не пугает опустевшая квартира, а чувство вины не поглощает весь ее разум. Лучше уж продрогнуть как сейчас, заболеть и даже умереть, чем оставаться там, одной, оставленной всем миром.

Все также, сторбленная, прижавшая локти к бокам, подняв худые плечи и опустив голову, шла вдоль улицы грустная девочка, шмыгая носом и ступая в лужи. Перед собой она уже ничего не видела. Одно желание – спрятаться от этого ненастья, согреться, высохнуть наконец.

Шла и шла вверх по улице Аня, смотря себе под ноги, пока не одумалась, что уж подозрительно долго она идет. Остановилась, огляделась, и назвала себя дурой, поняв, что уже давно прошла кофейню. По оплошности своей – Ане совсем не свойственной, – она только заставила себя за зря мокнуть. «Хотя, чему уже промокать», – подумала она, дрожащая от холода. Да и куда торопиться, если кофейня наверняка еще не открыта.

Увидев вывеску «Книжное кафе – Вкус мысли», Аня, словно мотылек, заметивший во мраке свет лампы, направилась к входу, ускорив свой шаг. Она чуть ли не бежала, прикованная полным надеждой взглядом к двери, за которой должно быть тепло и сухо. Над облепившем сырую голову капюшоном, из под которого свисали черного цвета мокрые пряди волос, брякнул спасительный язычок бронзового колокольчика на двери.

Оглушительный рев сменился далеким монотонным шипением нескончаемого ливня. Влетевшая в помещение Аня, тут же, будто спасаясь от чудовищной опасности, сильно хлопнула дверь, преграждая путь преследовавшего ее злого ветра. Похоже, Аня сразу не поняла, что случилось, что она благополучно избежала худшие свои ожидания, а потому некоторое время просто стояла у входа, не отпуская рукой ручку двери.

Ничего не изменилось: все так, как было с два месяца назад, будто бы только вчера она заходила сюда в последний раз. Слева стойка цвета светлого дерева, а справа, в глубине небольшого помещения, тесно уместились три белых столика по три стула у каждого. В первую очередь в глаза бросалась идея интерьера, если это так можно назвать. По двум стенам, за исключением стороны окна, были разбросаны настенные книжные полки. В них не было порядка, и в этом, надо предполагать, состояла сама идея. Настолько намеренно

безобразно, без порядка они были развешаны, что некоторые упирались чуть ли не в пол, иные висели слишком высоко, а остальные где попадя. Старые книги как стояли на них, так и стоят. Похоже ни одна не убавилась, а уж тем более не прибавилась. Кажется, Аня единственная, кто купила в этом месте книгу, уже довольно давно.

Из-за прохода, что находится за стойкой, выглянуло щетинистое вытянутое лицо лет тридцати пяти с небрежно зачесанными назад черными, немного засаленными волосами. Лицо это было мрачное и сонное, а обладателя его звали Николаем по фамилии Соболев. Аня за все время так и не поняла, кем он здесь приходится: наемным рабочим или владельцем кофейни.

Николай не сразу узнал Аню. Вся она преобразилась: цвет ее лица, освещенный длинными рыжими волосами, теперь затемнялся какими-то короткими черными прядями, вылезавшими из под капюшона, как дождевые червяки; да и брови, до того сливающиеся со светлой кожей Ани, теперь казались какими-то искусственными образованиями, наклепанными над ее зелеными глазами.

В этом ее родном городе Аню знают и помнят только как девочку с огненно-рыжими густыми волосами, спускающимися ниже плеч. Аня смотрелась с ними как яркий фитилек, особенно когда на волосы падали лучи солнца: тогда фитилек разгорался неотразимым огоньком, осветлял ее лицо, раскрывая скрытые, по своему красивые черты. Ни у кого больше не было таких волос, а теперь и у самой Ани вместо фитилька черные, невзрачные мокрые пряди, налипшие на капюшон куртки.

Когда Николай понял, что перед ним та самая наглая, с хамским характером девочка, он оторвал от нее безразличный взгляд и вернулся в подсобку. Воскресенскую он по большей части недолюбливал, и ее появление чаще всего вызывало раздражение, которое она провоцировала своим же поведением, взглядом и интонацией в голосе. Правда, иногда было приятно, что в этом вечно пустующем месте порой присутствует живая душа, даже угрюмая и молчаливая. Бывало, что Николай угощал Аню, когда у нее не было денег, но это в редкие дни хорошего настроения.

Аня уже привыкла к этому безразличному ко всему взгляду, который раздражал ее больше, чем раздражала она своим видом самого Соболева. Она громко шмыгнула носом и похлопала ботинками к своему неизменному столику поодаль от окна, оставляя за собой темные мокрые следы. Ее брови насупились насколько могли насупиться, а лицо приняло надменный наглый вид: к безразличию можно привыкнуть, но смириться с ним невозможно.

Только этот столик и признавался Аней. Она по праву считала его своим, хотя с тем же основанием могла считать своими все столики и стулья этого заведения, потому как Аня единственный посетитель, который заходит сюда именно останавливаясь, а не проходя мимо, взяв с собой стакан кофе. Опять таки, ее стул должен быть повернут так, дабы она могла сидеть именно спиной к стойке, в частности из-за того, чтобы Николай не раздражал ее всем своим существом, ну и конечно не видеть остальных редких посетителей кофейни.

Как реакция на отреченный взгляд Николая преобразила насупленные черты лица Ани на наглые, так и они в свою очередь отразились на ее импульсивном внутреннем состоянии. Сняв с себя свою черную сумку с белой птицей в уголке, Аня швырнула ее на один из стульев, от чего он сдвинувшись с места издал неприятный скрежет трением ножками о пол. Она столь раздраженно, резко содрала с головы капюшон, что брызги от дождя разлетелись в различные стороны до самой стены. Расстегнув молнию куртки, она быстро ее сняла, выворачивая промокшие рукава во внутрь, а потом бросила на спинку другого стула, словно

мокрую тряпку. На последний свободный – свой стул, Аня с треском упала, словно у нее только что отнялись ноги. Она действительно очень устала.

Воскресенской хотелось сломать, изрезать, сжечь каждую вещь, которую она видит перед собой, за исключением своей сумки и куртки. Но больше всего ее бы порадовало искривленное в мучениях и судорогах лицо Николая: чтобы оно отражало одну лишь боль за место этого идиотского, застывшего в глазах безразличия; чтобы хотя-бы отразило ее – Ани боль. Какая бы она, Воскресенская, не была, по крайней мере сегодня, сейчас она не заслуживает этого взгляда. Никто не имеет право хотя бы сегодня смотреть на нее так! Она отлично понимает, что во многом заслуживает осуждения: теперь понимает. Но разве она не откупилась от всего когда-то содеянного своими потерями и лишениями? Неужели не понятно, что ее, бедную девочку, еще ведь ребенка, ждет не легкая жизнь, и независимо от того, добьется она своего или нет. Рассчитывать Ане приходится лишь на последующую борьбу с Судьбой, чтобы выиграть послабление своей участи.

Основное, что придавало вес сумки, так это книга, купленная ею здесь в первый день своего посещения. Книгу Аня уже давно прочитала, а взяла с собой только для вида; да и не любила она, когда сумка не чувствуется плечом: она должна быть увесиста, ощутима. К большому огорчению Ани, переплет весь отсырел; затертая обложка старого издания, и без того с десятилетиями потерявшая вид, стала изогнутым ее серым подобием, на которой не прочитать ни имя автора, ни названия произведения. Раскрыв, Аня с горечью поняла, что свою любимую книгу она, похоже, потеряла: листы на ней выгибались маленькими волнами, почернели, кое-где краска потекла; перелистывать их не порвав было невозможно.

Это лучшее произведение из тех не многочисленных, которые она успела прочитать за свои четырнадцать лет. Конечно, множество страниц этой книги казались ей нудными и скучными, и скорее всего Аня не уловила всей сути повествуемой истории, но одно можно сказать наверняка: там она нашла нечто присущее и ей, поняла, что мучимые ее противоречия не сугубо ее, должно быть, проблема. Человеческая душа не однородна – она разрываемая на части, сама себя истязает, калечит, борется. Возможно смотреть в бездну, созерцая небо. Может ли она? Насколько глубоко надо Ане смотреть вглубь, чтобы увидеть высь?

Когда-то Аня задавалась этими вопросами, но не сегодня. Они, конечно, не оставили ее: засели где-то внутри и молчат, ждут. Сейчас Аню волнует другая проблема – как обыграть свою злосчастную Судьбу, которая приготовила ей столь убийственный капкан. Никогда еще Воскресенская не стояла настолько близко к обрыву, к которому ее подвели против собственной воли. Вся ее жизнь, думала она, против собственного желания, но раз уж Аня здесь, на этой грязной земле, ничего не остается, как оспорить свой статус злой насмешки.

Необходимо было начать разговор: непонятный, трудный, странный разговор. Сейчас, глядя в книгу и следя только за своими мыслями, Аня поняла, что во всей этой ситуации просматривается какой-то абсурд; все это нелепо. Как она могла подумать, что эти отчужденные, безразличные карие глаза поймут ее? Заведомо такой взгляд ничего не видит: не проблемы, ни боли; все для него не имеет цены. А ведь с час назад все казалось таким простым; все легко сплеталось единым канатом, по которому у Ани есть шанс перебраться через пропасть. Во всяком случае, заключила она, другого варианта у нее нет: либо Воскресенская плетет веревки, либо расправив руки бросается вниз.

Отопление еще не включили – рано; оно и чувствуется, ведь Ане никак не согреться. Сидит она, бедная, полностью промокшая, промерзшая, дрожью бессильно борется с

холодом, который проник внутрь, засел и сковал ее. По волосам и шее продолжали медленно стекать капли дождя; с головы капали на стол. От такого унижительного и болезненного положения ей захотелось заплатать, от чего Аня, как всегда, еще более нахмурилась и разозлилась.

Все деньги были потрачены на дорогу и пачку сигарет, а теперь в кармане куртки лишь три монеты мелочью, на которые ничего не купишь. Промерзшая и голодная – с вечера позапрошлого дня ничего не кушавшая. Всю жизнь ей сопутствует бедность и этот день не исключение. Мысль об этом уже не угнетала – она нервировала, злила Аню, придавала напряжение, которое не в ее силах сдержатъ. Сжав руки в кулачки, она безудержно, яростно ударила ими по шаткому столу, встала во весь рост и с вызывающим видом зашагала к стойке, хлюпая промокшими ногами в ботинках.

Могло показаться, что нечто упало, либо полетело в стену, и уже ожидая подобное, Николай выглянул в зал, но лишь увидел все то же жалкое зрелище: невзрачного вида Аню со злыми зелеными глазами, смотрящими на него снизу вверх из-за стойки. Это был не просто гневный взгляд; эти глаза насуспенного лица требовали, причем будто бы не просто так, изъясняя каприз, а требовали по справедливости; нечто принадлежащее им по безусловному праву. Примечательно, что всякий раз, когда Аня так смотрела на кого-либо, она то делала не намерено, не специально напуская на себя такой вид, а только потому, что полностью уверена в своей правоте. Несправедливо обиженной Ане обязаны компенсировать, и не важно кто – это неоспоримая аксиома и точка!

– Ну что тебе? Драться полезешь? – усмехнулся Николай. Представшее перед ним зрелище только навеяло улыбку: не добрую, сочувственную, а насмешливую.

– Сделай мне кофе! – потребовала Аня.

Соболев молчал и лишь ухмылка слезла с его лица. Убогий вид Ани по прежнему забавлял его, но и Николай понимал, что совсем нехорошо смеяться над мелкой девочкой, а уж тем более прямо в ее оскорбленное – судя по выражению – лицо. Никакого сочувствия он к ней не испытывал. Он вообще редко чувствовал сострадание, даже тогда, когда всякий нормальный человек просто обязан хотя-бы смягчить взгляд.

– Ты что, не видишь, я же промокла! – упираясь кулаками в поверхность стойки, заявила Аня. – Пока я сюда шла, вся продрогла как дворовая шавка. Я сутки ничего не ела! – взвизгнула она.

За тот период, пока Воскресенская ходила сюда, Николай понял, что если у нее есть деньги, то девочка просто приходит, платит и покупает то, что неизменно берет всегда. В остальном, когда у Ани денег нет, она либо обманывает, либо вот так вот требует, либо упорно и нагло на него глядит, чуть ли не проклиная землю, на которой он стоит. Не редко бывало, что и обзывалась.

– Зачем шла то? Сидела бы дома, – лишь ответил Николай. – В окно не смотрела?

На пару секунд настала тишина. Был слышен лишь глухой звук неугомонного ливня, стучащего в окна и по карнизам; каплями разбивающимся об асфальт и теряющимся в глубоких лужах. В этом молчании пересеклись два взгляда, словно сошлись две вековые силы: справедливый гнев и отреченное безразличие. Аня, как прежде, но сильнее, замахнувшись ударила кулаками по стойке, да так, что сразу заныло в обеих руках. Развернувшись, она, не теряя гордого вида, похлопала ботинками обратно – к своему столику. Сейчас были особенно противны эти две лужи, переливающиеся с пяток до пальцев ног. Свалившись на стул, Аня задрала правую ногу и подошвой уперлась в сидение стула,

около стоявшего. Расшнуровав, она сняла с ноги ботинок и перевернула вверх подошвой. На пол звонко потекла струйка воды, образовав маленькую лужицу. После как упала последняя капля, Аня с силой откинула ботинок в сторону холодной батареи. Когда после того же полетел левый ботинок, на батарее подошвой он оставил темный, довольно отчетливый земляной след.

Процесс, в который была погружена Аня со своими ботинками, вкуче с разжигаемым и поглощающим все мысли и чувства огнем ярости, на столько увлек ее, что ничего в округе она заметить уже не могла. В горле у нее копилась слезы, ощущение обиды только возрастало. Ей сейчас хотелось только одного – послабления, передышки; хотя-бы на короткое время расслабиться и почувствовать себя спокойной, ничем не обремененной. Хотелось вернуться назад, хотя-бы на месяца три, перед тем, как ее увезли.

Воскресенская не слышала треск перемалывающей кофейное зерно кофеварки, ни шипения выпускаемого под давлением пара, а аромат приготовленного кофе еще не добрался до ее лица. Нахлынула слабость, хотелось вернуться домой и упасть на кровать, и спать, спать до самой ночи, а потом до утра. Тишина квартиры уже не казалась столь пугающей. Сложив руки на стол, она прильнула к ним лбом и закрыла глаза. Это состояние невыносимо, даже для сильной девочки Ани. Держать себя уже не было сил и слезы потихоньку просачивались между веками, медленно скатываясь по ресницам. И когда одна ее слезинка уже готова была упасть на стол, Аня услышала: «На, пей». Это был голос Николая.

Немного приподняв голову, Аня увидела перед собой стакан кофе, закрытый пластиковой крышкой, а рядом с ним лежало восемь пакетиков сахара – как она любит.

– Есть хочу. Я сутки ничего не ела, – сказала Аня и опустила голову на руки. В ее голосе послышались мягкие нотки – в нем уже не было требования; говорила только жалость к себе.

Аня так и сидела, не двигаясь, будто бы заснула на столе. Плакать уже не хотелось. Она прислушивалась к звукам заработавшей микроволновой печи и гадала, сколько бутербродов Николай положил на тарелку. Чувство голода обманывало, что Аня и с десятков съест, но столько она и не получит: от силу два – и то хорошо. Спустя две минуты она услышала, как тарелка опустилась на стол. Не поднимая головы, она случайно обронила глухое: «Спасибо».

Слово, так небрежно брошенное, удивило не одну только Аню. Даже она – наглая эгоистичная хамка – тут же призналась себе, что это какой-то нонсенс. «Думай сначала, а потом говори», – приказала она себе шепотом.

У Николая Соболева тоже выдалась не простая ночь, хотя, если бы знал он, что пережила в эти короткие темные часы Аня, никогда бы так не подумал. Если Воскресенская пол ночи была мучима чувством собственной вины, вновь и вновь, каждую минуту испытывала свою огромную, непоправимую потерю, от сознания которой можно сойти с ума; если теперь она на самом деле поняла, что такое одиночество и оставленность, то Николай всего на всего был тревожим своей решимостью.

Наконец он понял, что жизнь его может быть только в стенах монастыря. Для него это будет последней, решительной и бесповоротной попыткой в борьбе с самим собой: со всем человеческим, что ему по природе присуще. В его глазах, человек, какой он есть – это тлен и

пепел, либо пороки с их страстями, что тоже, собственно говоря, ляжет в землю и во век не поднимется. Постоянно он повторял заученные слова ветхозаветного мудреца: «Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все – суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах.» Правда, последующие слова, выражающие сомнение о бессмертии сынов человеческих, Николай далее не приводил себе на память.

Наличие и бессмертие духа – истинного образа Бога, для него есть аксиома, которая свята и непогрешима. Нет большей правды на земле, чем эта и имя самого Бога.

Всему, абсолютно всему приготовлен свой конец и нет ничего вечного в том, что видели глаза и слышали уши; руки никогда не дотронутся до бессмертного. Всякая вещь и всякая плоть в свое время ляжет в могилу, и даже у самой земли, у всей вселенной есть свой гробовщик, который в положенный час выгянет из невидимого занавеса, отодвигаемого изогнутым серпом, который лежит в его руке.

Только избавившись от всего человеческого, сам человек может заслужить бессмертие. Если отсечет он от себя все лишнее, животное, все свои страсти и желания, возвысит свой ум в горнее, тогда и только тогда его дух воспарит и унесется в царство вечной истины и света.

Таков ход мыслей Николая – основа его мировоззрения, которое складывалось последние пятнадцать лет. Всему этому есть две основательные причины – не сложившаяся жизнь и мистический склад ума. Нельзя сказать, что одно превалирует над другим, и будь в его жизни все хорошо, это не означало бы, что Николай думал бы иначе. Совсем нет – вопросы, которые его волнуют, никогда бы не давали ему покоя при любых стечениях обстоятельств. Но правда и в том, что чрезмерная увлеченность такими проблемами, как смысл жизни, предназначение, душа, Бог и бессмертие, мешали должным образом ему уделять внимание вещами земного характера, доводя до крайностей.

Вообще, ему всегда были свойственны крайности. Николай из тех людей, которые любят за собой сжигать мосты, чтобы не было возможности вернуться назад. Когда же он понимал, что зря предавал огню прошлое, горько сожалел, но поделать более уже было нельзя. Так он оказался без друзей, без родителей – сам по себе.

Этот городок – не его родное место. Сам он родился и жил во Владивостоке – городе несоизмеримо большем, чем этот. Там у него была своя квартира, которую он в тайне от родных продал, и также, никому ни о чем не сказав, поехал поездом на запад. Пять лет назад он прибыл в этот провинциальный городок близ Яргорода – купил себе маленькую квартирку.

Почему Николай поступил таким образом, одному Богу известно в прямом смысле этого слова, потому как не совсем ясно, на сколько понимал он сам замысел своего поступка; чего он хотел этим добиться. Не будет ложью сказать, что Соболев хотел сбежать, но сбежать не от кого-то постороннего и близкого, а именно от себя, и будь он более прозорлив в своих чувствах, не поступил бы так опрометчиво. То, от чего он хочет сбежать, на самом деле является предметом его исканий: надо предполагать – это предназначение. Мистический склад ума предполагает и подобные обороты речи, а как же по другому объяснить все это? Логика здесь бессильна. Надо сказать, что у таких людей она выпадает далеко за черту, в пределах которой определяются поступки. Эти люди живут верой и чувствами: в их разуме существует сознание некоего уготовленного для мира и каждого человека плана, который разгадать не в силах даже великий гений Люцифера, иначе бы и он не был заставлен

врасплох.

Первые годы, как Николай покинул Владивосток и осел в этом никому неизвестном городке, он чувствовал себя, словно монах в миру, а мелкая его квартира – стены его обители. В жизни его были только жилище и церковь поблизости. По началу, еще с продажи первой квартиры, денег было предостаточно, а потому не стоило торопиться с поисками заработка, и больше года он придавался своим размышлениям и созерцаниям, которые никуда его не привели. Как и следовало ожидать, тайна великих вопросов оставалась непоколебимой, как неизменны на иконах лица праведников.

Потом все хуже: пришлось искать заработок в городке, где с работой не так все просто, а каждый день ездить в Яргород не очень то и хотелось. Приходилось подрабатывать в различных местах: продавцом в церковной лавке, кладовщиком на полуразрушенном складе, потолок которого грозился упасть на голову каждую минуту, или, как сейчас, баристой в кофейне. Последнее – лучше всего. Денег много не платят – впрочем, как и на прошлых работах, – но их много и не надо, зато почти целыми днями предоставлен самому себе, а это основательный для Соболева аргумент. Учитывая то, что работа не подразумевает смену, не слишком волновало Николая; главное – возможность оставаться наедине с собой и своими бесплодными, безрезультативными мыслями, а также иногда уделять время чтению какой-то книжки, автор которой также разбирает вопросы, на которые человечество во век не найдет ответов.

Но и эта жизнь стала казаться Николаю слишком обременительной для его честолюбивых целей возвыситься над порочной землей, которая в свое время, как и ад, будет брошена в море огня. Соболев остро ощущал, что жизнь снова надо менять: опять доставать спрятанные когда-то спички и занести огонек над соломой, выложенной под очередным мостом.

То, что вопреки ожиданиям на блестяще-белой тарелке лежали четыре горячих бутерброда, а не один или два, немного успокоило в Ане бурю негодования. От бутербродов исходит пар: они настолько горячие, что их можно держать только кончиками пальцев, переминая с одного на другой, чтобы не обжечься – как и любит Аня.

Воскресенская не могла приступить к бутербродами, миновав особый процесс подготовки кофе. Она придвинула к себе трехсот граммовый стакан, открыла крышечку и предварительно помахав пакетиком сахара за уголок, принялась надирать каждый из восьми поочередно. Оторвет край и высыпает, долго помахивая им над напитком, чтобы ни одна сахаринка не осталась в пакетике. После, тщательно помешивает кофе, чтобы каждая сахаринка растворилась. Потом закрывает крышкой и ставит поодаль от себя, чтобы самое приятное оставить напоследок.

Эти бутерброды, с обеих сторон покрывшие сыр и бекон ломтиками белого хлеба, вымоченные в яйце с молоком, для Ани любимейшее из блюд. Когда в ее кармане было немного денег, хватавших не только на кофе, она не могла удержаться, чтобы не купить хотя-бы один из них, каждый раз напоминая Николаю, чтобы он разогрел их горячими.

Невозможно не умилиться при виде Ани, намеренно откусывающей от бутерброда маленькие кусочки и тщательно, смакуя прожевывая их; какое удовольствие и блаженство

выражается в ее глазах, как разглаживаются ее черты лица, а уголки рта незаметно для нее самой приподнимаются, образуя мало заметную улыбку. Кто бы ни был суров или сердит по отношению к Ане, он тут же бы оставил все свое ей недовольство, хотя-бы на время. Казалось, сам вид Ани, умилительно употребляющей эту простую еду, искупает ее множество проступков, будто это уже совсем другая, не злобная, не брезгливая и не эгоистичная Воскресенская Аня. В это время та пропадала, уступая место иной, к сожалению, только на короткое время.

С удовольствием управившись с едой, довольная, и заметно повеселевшая, она принялась попивать кофе через крышечку. Ее редкие брови, расправив складку на переносице, приподнялись над заметно подобрившими глазами. Ноги, запрокинутые правою на левую, протянулись под столом, скрывая мокрые посеревшие белые носки. На сердце Ани стало гораздо легче, словно аромат кофе отпугивал все ее страшные, тревожные мысли; будто бы она не мучилась половину бессонной ночи, всхлипывая, тяжело вздыхая и обливаясь слезами: одна в темноте, оставленная всем миром.

Приятное, умиротворяющее, согревающее тепло распространялось по телу изливаясь в руки и ноги, отпугнув бледность ее лица. Аня преспокойно, опрокинувшись спиной на спинку стула, наконец расслабившись, попивала маленькими глотками кофе и смотрела в окно. Холодный ливень уже не был опасен и вовсе не страшен; завывающий ветер теперь бессилен. Аня надежно скрылась от ненастья: победила его, вытравив из себя до того сковывающий ее холод, заставлявший дрожать тело, руки и зубы. Теперь она не столь беззащитна – все еще оставлена всем миром, но миром не сломлена, не забита Судьбой.

– Коль, – неожиданно для самой Ани вырвалось у нее. – Слышь, Коль! – не оборачиваясь, со стаканом в руке крикнула она и тут же спохватилась. Зачем она окликнула его, ведь что сказать, как начать, Аня так и не придумала. Вырвалось само собой и совершенно не к стати – слишком расслабилась. Она обругала себя неприличным словом, напряглась, насупилась, ожидая ответа, готовясь к обороне. Но ее слова, казалось, вылетели наружу, смешались с шумом дождя и им были проглочены.

– Что тебе? – спустя время неожиданно услышала за спиной голос Николая. Он стоял в проеме, все такой же сонный, но уже не столь мрачный лицом. Удивительно, как обычное человеческое «спасибо» может отыгаться в душе даже этого черствого человека.

– Ничего, – процедила сквозь зубы Аня не оборачиваясь. – Случайно вырвалось.

Николай молча развернулся и ушел. В подсобке Соболев всегда читал: там ничего не отвлекает, хотя, казалось бы, что может отвлекать его в зале безлюдной кофейни. Разве что Аня скажет что-то «случайно».

Немного поразмыслив и решив, что если не сейчас, то когда же – не сидеть же здесь целый день, она снова окликнула Николая.

– Слышь! Я на самом деле вот что хотела тебе сказать! Ты же христианин? В бога веришь.., – с пренебрежением сказала она. – Ведь так? Ты слышишь? Эй! – Обернулась она к пустому дверному проему подсбки. – Ты слушаешь меня?

– Слышу-слышу, – отозвался Николай. Он и не мог не слушать, и даже более: ему стало интересно, к чему эта не словоохотная девочка ведет. Казалась, что уже сейчас, только начав говорить, она сказала больше, чем за все эти пол года ее посещений кофейни, за исключением одного только случая, когда Аня вдоволь высказалась в порыве своего бурного гнева. – Говори, я слушаю.

– Ты должен помогать людям, ведь так? – смотрела в проем Аня.

– Кому же я должен помочь, добрая девочка? – не без сарказма сказал Николай, не сходя со своего места на стуле около маленького столика в углу подсобки, на котором, как правило, у него лежало пара книг религиозного характера. Одна из них была раскрыта в его руках.

Аня терпеть не могла, когда ее называют девочкой, тем более она поняла, что Николай сказал это в насмешку. Отвернувшись от стойки, она раздраженно забила по столу своими длинными ухоженными черными ноготками.

– Добрая девочка, – прошипела Аня, будто продолжая выбивать нервы через ногти. – Скотина рослая! Вот урод! – сжала челюсть.

– Мне ты должен помочь! – выкрикнула она, срываясь на ярость. – Ты должен меня удочерить! – потребовала Аня.

**Часть первая,
где я угрожаю, бесстыдно вру, гуляю, немного
думаю...**

**Всех ненавижу, особенно продавцов книг.
Терпеть не могу перегоревшие лампочки!**

*Спорим, я дотянусь;
До самого неба достану?
Не веришь? Пригнись.
Там, внизу, гляди в темноту.
Где озеро, там я останусь.
Когда пойду, друга позову.
С ним, вместе, нырять начну.
Там, с другом, я и расстанусь.
Уплыву на самую глубину.
Не веришь? Там небо!
Там я счастье обрету!*

Из ранних записей Воскресенской Ани

Посреди учебного процесса в школе произошел неприятный инцидент. За все свои двадцать шесть лет стажа, Татьяну Петровну не затрагивал скандал таких величин и масштабов, что побудило ее поднять настоящую тревогу. Из учительской пропали тетради с домашними работами учеников всех трех классов девятого года обучения. Перерыли весь кабинет со всеми его шкафами, расспрашивали коллег, звонили в этот день выходным, привлекли двух уборщиц и охранника, но никто ничего не видел и не слышал. Более того, нельзя было сказать: пропали работы в понедельник, когда Татьяна Петровна снесла их в учительскую, либо же во вторник.

Ничего не оставалось, как допрашивать подозреваемых, коими были все те ученики, которые уже не раз были замечены в хулиганстве и имели дурную репутацию. Ирина Васильевна – директор школы – вполне оптимистично смотрела на возможный исход дела, так как по ее представлениям, в скандале замешаны по-меньшей мере двое, а скорее даже трое человек. Она была уверена, что один ни в коем случае не полезет в учительскую, если хотя-бы другой не будет «караулить у двери», высматривая кого-нибудь из учителей. То, что проступок совершен группой, уже дает большой шанс, что дело разрешится, потому как одиночка всегда будет молчать, и как не запугивай всех подряд коллективной ответственности, он то никогда не сознается. Другое дело, когда это касается группы. Не редко находится тот, кто испугается, проговорится, или просто прислушается к голосу совести: главное, только правильно поугаать или тонко призвать к добропорядочности – смотря по обстоятельствам.

Интересно и то, что красть тетради по обществу совсем не имело смысла. Это не какие-то решающие работы за четверть и даже не обычные контрольные, за которые можно схлопотать очередную пару. Работы эти хотя и носили обязательный характер выполнения для учеников, но никак не подлежали оценке. Кроме того, это была домашняя работа, которая должна была быть сдана в понедельник всеми без исключения. Пожалуй, этот пункт самый обязательный, потому как предмет вела Татьяна Петровна, а уж ее методика отношений с учениками была по всем правилам строгой дисциплины. Тем самым Татьяна Петровна практически исключала возможность учеников отклоняться от ее строгих требований, не смотря на то, что это как ни как обществознание, а не алгебра или физика, либо тому подобные предметы, которые традиционно – считается – идут в придачу с деспотичным учителем.

Темой задания было: «Мой вклад в лучшую жизнь». Подразумевало оно свободную форму письма без строгих рамок и какого-либо плана. Как напутствовала Татьяна Петровна после тяжело обремененных вздохов, причитаний и раздраженных смешков, вызванных ее новой задумкой: «Пишите как хотите, о чем хотите, главное, чтобы каждый из вас был уверен, что тема полностью раскрыта».

Воскресенская Аня из учениц с не очень хорошей репутацией в школе, слабой успеваемостью, периодическими опозданиями и частыми прогулами – «тотальными», как

любила выражаться Татьяна Петровна на ее счет. Репутация Ани распространилась не только среди учителей, но и в некотором роде затмевала сомнительную популярность оголтелых школьных хулиганов. В отличие от остальных, нарушавших дисциплину точно таким же образом, как это уже заведено в веках, она проявляла неординарные способности. Несомненно, это талант, которому удивлялись некоторые сверстники и который признавали учителя, обозначая его, как «своеобразная способность». Когда в школе в очередной раз происходило нечто возмущающее спокойствие и нарушало заведенный уклад, и в том где-то будто отдаленно мелькала фигура Ани, то в двух из трех случаях без ее непосредственного участия дело не обходилось. Примечательно, что замечалась не активная роль Воскресенской в произошедшем, но какая-то постоянно подстрекательская, что выходило так, будто она и не совсем причем, а если и причем, то так, просто проходила мимо. Если «хулиганке» не всегда удавалось скрыть свою истинную роль в скандале, то по крайней мере формально выходило, что она не при делах. Это то учителя и называли «своеобразной способностью» Воскресенской.

Числилась Аня в девятом «Б» классе, и соответственно, училась при нем, когда не прогуливала добрую половину занятий. Но и присутствуя на занятиях, она будто бы отсутствовала – по крайней мере качественной разницы не замечалось во всех отношениях. И это не только касается уроков, но и взаимоотношений со сверстниками, вернее в отсутствии всяких отношений. Вплоть до конца седьмого класса у Ани была подруга начиная с первого – Настя Котова. Их дружбу можно было ставить в пример самой настоящей дружбы, которая только может быть среди девочек-подростков. Где раздавался смех Насти, вторил ему голос Аня; попадет Воскресенская в какую-то передрагу, и Котовой прилично достается, будто они поделили одну судьбу на двоих.

Но в конце седьмого класса Аня столь же неожиданно и без видимой причины порвала дружбу не только со своей старой подругой, но и перестала общаться со всеми, с кем ранее охотно шла на контакт. Сверстников стала держать от себя все более на отдаленном расстоянии, основательно прекратив всякое общение с одноклассниками. Эта странная перемена была какая-то неоднозначная, а именно потому, что этим Аня изъясляла осознанный свой выбор. Верно, что она начала стремительно замыкаться в себе: стала угрюмой и задумчивой, по возможности садилась за парту одна, но при этом Воскресенская не казалась какой-то загнанной или жизнью испуганной девочкой. Совсем нет – наоборот. Чем больше отстранялась она от сверстников, тем выше поднимала подбородок, всем своим видом утверждая свою независимость, самодостаточность и, несомненно, надменность и даже брезгливость ко всему окружающему.

Как бы там не вышло, но и законченной одиночкой Аня так и не стала, и тому виной случайные обстоятельства – во всяком, случае на первый взгляд – при которых она познакомилась со Светловой Леной – довольно таки прилежной ученицы параллельного «В» класса. Дружба эта столь же своеобразная, как и перемены годом ранее в Ане, то есть противоречивая и неоднозначная.

Этим прохладным мартовским днем, девятый «Б» класс, после звонка на второй урок оставался в собственном своем распоряжении, будто воздушный змей, выпущенный с петель:

не знает он, куда летит, но, главное – он свободен. Кажется ему, что парит он по собственному желанию, а ветер только спутник его – равный ему. В кабинете стоял заглушающий отдельные голоса гамм, взявший вверх над всем индивидуальным, как жужжание роя ос. Понесся он, ни кем не удержанный по коридору, по лестнице вниз, доходил до дверей кабинетов и ушей учеников, завидно прислушивающихся к звукам необузданной свободы.

За последними партами собралась компания из пяти человек – главный источник жужжащего улья. Там и возмутитель всякого школьного спокойствия, кровный враг дисциплины – Смирнов; туда же влез Федоров Иван – отличник и любимец учителей: все у него правильно, верно, по-полочкам; Воробьева Юлия – непоседливая, юркая, голос ее раздавался за троих, а смеялась она сразу за пятерых; спокойный, сдержанный, с многозначительным взглядом, всегда себе на уме – Константин Иванов; и готовый поддержать любую тему, лишь бы не оставаться в стороне, всегда безуспешно жаждущий стать в центре компании – Амельчев.

За первой партой левого ряда, по своему обыкновению сидели Ершова Машка и Танька Зорина. Около них почти улеглась на стол Настя Котова – она как комета, которая иногда эллипсом своего пути пробегает через орбиту неразлучных подруг. В отличии от стихийных компаний с приходящими и непостоянными темами для разговоров, сплавляемых чувством свободы, возникающим в отсутствии преподавателя, здесь всегда поднимались только определенные, узкие темы, что касалось моды, музыки и, так сказать, роскошной жизни. Последнее – это цель, смысл существования, ядро, притягивающее к себе двух подруг; это связующая тема, в которой без всякого интереса приходится участвовать Котовой.

Между двумя подругами уже успел сформироваться приличный нарост стереотипов на дальнейшую безоблачно-розовую жизнь. Это, как обычно, уехать в столицу или лучше в Европу; выйти замуж за богача, который обеспечит вольготную, красивую жизнь с роскошными вечерами. Вознестись царицей над малым мирком огромного дома со множеством прислуг: может быть самой заняться модой или каким современным искусством; присутствовать в богемных кругах и обществах равных себе. Все эти мечты, на которых так или иначе придется споткнуться подругам, придавали Ершовой и Зориной своеобразную манеру поведения, которую никак иначе не назвать, как высокомерно-демонстративной, пренебрежительной и примитивно-пафосной.

Редко какой разговор обходился без помощи сенсорного экрана телефона. Одна из подруг обязательно доставала свой, поблескивающий множеством пафосных украшений на тыльной стороне телефон, и тем начинался просмотр, а с ним обсуждения. Тут и фотографии новых туфель, откровенных юбок, модных кофточек и шикарных блузок. И все это с видом, будто прямо сейчас, сию минуту, обе подруги стоят в дорогом магазине и выбирают новую вещицу, лишь бы как-нибудь потратить лишние деньги.

– Стой-стой, назад, – затрепетала Танька, останавливая Машку. – Вот про эту я тебе тогда говорила. На выходных уже закажу, а это значит, – потянула она слова, – что в следующий наш поход в «Радугу» я уже буду в ней, – и приготовилось к скрытой завистью лести.

– Фу, – брезгливо протянула Ершова. – Ты как Воскресенская хочешь быть? Фу, Таня! Настя рассмеялась в голос. Зорина, потупив взгляд побледнела и нехотя обронила:
– Ну да, возможно ты права, – и добавила: – Что-то убогое в этом есть.

Среди жужжащего улья, над третьей партой левого ряда, касаясь кончиками поверхности, свисали пряди огненного оттенка рыжие волосы Ани. Она молчаливо склонилась над своей тетрадью с ручкой в руке, будто образуя непроглядную завесу из своих волос, как подражающим водопадам устремленным вниз. Это была ее отдельная, сорока восьми листовая тетрадка, в которую не позволено заглядывать никому. В нее записывались слагаемые рифмой строки, принявшие формы до того бесформенных мыслей и чувств, начало свое берущих из самого сердца Ани.

С этого учебного года, с сентября месяца, директор самолично распорядилась, чтобы Воскресенская сидела за одной партой с Федоровым Иваном, и не на каком ином месте. Наказ был донесен до каждого учителя девярых классов, а потому неукоснительно соблюдался вопреки желаниям двух учеников. Не только Аня всем своим непростым характером восставала против такого решения, но и Федорова не радовал новый порядок. Сидеть за одной партой с Воскресенской – этой нелюдимиой рыжеволосой девчонкой, у которой не понятно что на уме, и при всяком малейшем случае выпускающей жалящие иглы и норотившей впиться зубами в плотку, представлялось не легким бременем. К тому же, по мнению Федорова, Аня – девчонка страшенькая, а кому понравится сидеть со страшной, к тому же рыжей, а ко всему прочему, по характеру своему – сущей химерой? Здесь Федоров был категоричен и старался сопротивляться до конца, потому как, на его взгляд, он – отличник, и не только – достоин гораздо лучшей доли.

Если Иван сопротивлялся такому решению, стараясь донести свое негодование ежедневными монологами, говоря по делу и часто без, а также объясняя всю суть вопроса не избирая слушателя – кому попадет, – лишь бы говорить, то у Ани хватало ума молчать, потому как она прекрасно понимала, что решение директором принято окончательное, а все из-за пресловутого правила стучать в дверь, перед тем как войти в кабинет.

Вскоре Федоров смирился со своим не легким бременем и будто даже забыл, что достоин лучшей доли, нежели сидеть за одним столом с насупленной, постоянно недовольной Воскресенской. Может быть в Ане есть некоторая скрытая черта преображать людей, или какое иное свойство, самой ей неведомое, но Иван изменился существенно, не много сказать, принципиально, потому как ученик, имеющий репутацию ни в коем разе не давать списывать и конечно же помогать, стал как раз таки помогать и давать списывать Ане.

Воскресенская же отреагировала на столь щедрый жест со стороны скупого Федорова свойственно своему характеру: приняла этот как должное, само собой разумеющееся, но для себя конечно же подметила его странность. Аня сделала вывод, что Иван всего на всего таким образом желает выслужиться, что вполне в духе его характера. Расчет прост и не оригинален, и заключается он в том, что якобы посадив Аню с Федоровым, ее успеваемость заметно улучшается, и это, несомненно, заслуга прилежного ученика, лучшего во всем классе, а то и в школе – Федорова Ивана Анатольевича.

Поспешным шагом в кабинет – словно олицетворяя стереотип – вбежала молодая и стройная учительница географии: с пучком волос на затылке, тонкой, поблескивающей оправой на глазах, и с не сползающей слабой улыбкой на лице. Поставив сумку на стол, она встала к классу напротив доски и поздоровавшись с учениками, дождалась, пока улей умолкнет и каждый займет свое место.

– Славно, – весело сказала учительница, когда в классе образовалась тишина. – Тема нашего урока, – размерено начала она, – природа и ресурсы гор Южной Сибири, – и

красивым почерком повела мелом по доске.

Воскресенская не спеша, обремененно закрыла тетрадь и повернулась к спинке стула, чтобы положить ее в свою сумку. Обернувшись, она пересеклась взглядом с сидевшей позади Настей Котовой, которая не отрываясь смотрела на Аню исподлобья. Этот взгляд – следствие давней, но незабываемой обиды: жгучей и не проходящей более потому, что сама Настя в своей же обиде и виновата.

В начале восьмого класса, когда стало очевидно, что Аня теперь сама по себе и никто ей не нужен, и тем самым раздражала не мало сверстников, а особенно своих одноклассниц – Ершову и Зорину, этими двумя было решено сделать ее удобной девочкой для битья, которой так порой не доставало, чтобы выместить накопившуюся злость. К этому времени к подружкам примкнула оставленная Аней и все еще держащая в себе обиду за разрыв многолетней дружбы – Настя.

Сразу поняв, в чем собственно дело и чем оно грозит обернуться для Ани, что придирки по поводу ее излишней надменности и высокомерии всего лишь повод, при которых ей пытались указать «настоящее ее место нищенки» с поношенными, утратившими вид кроссовками, с потертыми джинсами в «грязной блузке и не мытыми засаленными волосами». Все это было отчасти правда, которой при случае попрекали Аню, только вот она никогда не ходила в грязной одежде и с немытыми волосами. Вид ее действительно говорит о не малой нужде – это правда. Иногда, конечно, она не причешет волосы должным образом и за ногтями на руках совсем ухаживает, считая это ненужным, но никогда Аня не ходила грязной. Напротив: только грязь – в том числе и в надуманных формах – и мерещилась вокруг Ане, на что она реагировала крайне брезгливо.

Но дело было не в ее внешнем виде. Из Ани просто хотели сделать тряпку и в последующем вытирать ноги, а потому не долго думая, она решила всеми возможными средствами постоять за себя. Дождавшись, когда за нее примутся именно все три обидчицы, Аня будто того и ждала, чтобы развязать себе же руки. Со стороны она напоминала какого-то обезумевшего маленького парня и только ее длинные яркие волосы поверх весенней куртки утверждали, что этот человек с большой веткой охваченной двумя руками, на самом деле девочка. Это было в первый раз, когда Аня решила действовать первым попавшимся под руку предметом, и этим предметом стала удобно лежащая в руках весомая ветка.

Если Машка еще успела убежать, а Таньке лишь раз больно досталось по руке, то Насте повезло меньше – она, убегая, споткнулась и повалилась на землю, что закончилось для нее очень драматично. Разъяренная, готовая на все, лишь бы отстоять свое маленькое человеческое право, Аня, раз за разом, поднимая и не жалея, с силой опуская ветку, отбивала ею ноги своей бывшей подруги.

Наверное, где-то на седьмом ударе Аня остановилась, наконец расслышав слезы и мольбу Насти. Тогда, подобно победоносной воинственной амазонке, она отбросила орудие своего возмездия в сторону и, оглянувшись, посмотрела в испуганные лица в стороне стоящих подруг и пошла себе, по своему обыкновению, гулять. Погода была отличная, как раз что надо: прохладно и немного моросило.

– Еще раз так посмотришь, и я тебе тот камень в плотку затолкаю, – спокойно сказала Аня и обернулась обратно. Настя только раскрыла рот: хотела что-то сказать, но решила, что благоразумнее промолчать.

– Интриги, – с ухмылкой заметил Федоров, покосившись на Аню. Видать, он так разгорячился недавним разговором за последней партией, что позабыл, кто его соседка.

Воскресенская бросила на него презрительный взгляд, но Иван не заметил.

– О твоём подвиге тогда вся школа говорила, – начал он – любитель раздувать тлеющий между людьми хворост. – Странно, как ты вообще терпишь их разговоры у себя за спиной.

Аня молчала, не обращала внимание, будто бы мимо ее ушей проносилось лишь завывание неприятного сквозняка. Она давно уловила в Федорове эту черту: подогревать конфликты, на фоне которых, как ему казалось, лишь подчеркиваются все его прилежные качества, которыми он демонстративно так хвалился. Только думал он, что делает это очень завуалированно, незаметно, но на самом же деле выглядело это до безобразия откровенно.

– Я читал, что это называется социальным фашизмом, – продолжал Федоров, когда учительница села за стол и сидя продолжала вести тему. Она скрылась из виду за спиной Амельчева. – Это когда человека оскорбляют по социальному положению.

Что-то стало колоть ему в висок, и обернувшись, Иван увидел гневный, непоколебимый взгляд Ани. Она все поняла: он назвал ее нищенкой. Больше всего Аня ненавидела, когда ее трогали за социальное положение, то есть напоминали, что она из семьи не вполне благополучной: из семьи бедной. Впрочем, она и не считала, что живет в какой-то семье и понятие это для нее было чуждо. А еще Воскресенская терпеть не могла, когда ее называют убогой – тогда уж она не в силах себя сдержать. То, что эта тройка сверстниц болтают о ней за спиной все что угодно, Аня и без того знала, как и знала, что сам Федоров не мало чего говорит, особенно если он считает, что это каким-то образом подыгрывает его репутации.

– Может заткнешься, умник твердолобый, – проскрежетала она.

Послышался голос поднявшейся с места учительницы:

– Ой, Воскресенская, совсем забыла. Тебя Ирина Васильевна вызывает. Иди сейчас к директору.

Стащив с парты учебник и тетрадь по географии, Аня бросила их в сумку, и встав, закинула ее на левое плечо. В это время учительница начала писать на доске. Под пару негромких смешков Воскресенская не спеша покинула кабинет.

В школе всегда найдется несколько пустующих кабинетов, где можно переждать урок, на который пришел не подготовленным, либо с невыполненным домашним заданием, чем некоторые ученики и пользовались. Но не Аня: если она прогуливает, то уходит не возвращаясь. В редких случаях она пользовалась пустыми кабинетами – в таких, как например этот: оставить на время сумку на стуле последней парты, на всякий случай задвинув, чтобы не было видно, либо положив в шкаф, если таковой стоит в кабинете, и пойти к директору, по мере возможного не задерживаясь у нее.

Ирина Васильевна – женщина довольно жесткого характера. Как все управленцы с немалым стажем, она хорошо дисциплинирована и выдержана на эмоции, что со стороны смотрится чрезмерно хладнокровно. При всей своей видимой сдержанности, требуемом занимаемой должности, Ирина Васильевна – мать троих детей – женщина переживающая и довольно болезненно реагирующая на всякого рода происшествия, хотя, опять таки, со стороны это было незаметно. Точно также невозможно было уловить ни единого дрогнувшего мускула на лице Ирины Васильевны, когда ей жаловались на учеников, будь то неуспеваемость, неряшливость, опоздания и тому подобное, что тем не менее не отражало

действительности ее внутренних переживаний.

В ее небольшом кабинете всегда был порядок: только все необходимое, нужное для работы и больше ничего. От этого маленькое помещение, которое служило кабинетом Ирине Васильевне, казалось уютным и даже просторным, но в тот же время создавало впечатление дисциплины и какой-то уставной, прописанной в деталях жизни.

Словно у чиновника, на стене за спиной висел портрет действующего президента, а также герб – золотого цвета двуглавый орел на красном щите; справа полутораметровый бело-сине-красный флаг на напольном флагштоке. Ирина Васильевна была убеждена, что школа должна быть кузницей не только будущего образованного, воспитанного, придерживающегося моральных и этических ценностей человека, но и личности, которая почтительно относится к своему государству и его истории.

Подойдя к кабинету, Аня, не стучась, дернула ручку и толкнула дверь от себя. Не глядя на Ирину Васильевну, она прошла до стула напротив стола директора и молча села, повернув голову к окну, за которым над голыми изогнутыми ветвями дерева нависло тяжелое, неподвижное свинцовое небо.

– Анна, ну сколько раз можно повторять, – напустила Ирина Васильевна возмутительный тон, – прежде стучатся, а потом заходят.

Ирина Васильевна взяла с секунду молчания. Она поняла, что слова ею сказанные, не только прозвучали как откровенная формальность – они таковыми и были. Сколько раз она уже говорила это упертой Воскресенской! Ирина Васильевна сбилась со счета, сколько попыток было предпринято отучить «хулиганку» от этой дурной манеры, выставляя ее за дверь и требуя войти снова, только прежде постучавшись. Но всякий раз, как она это делала, Аня разворачивалась и уходила, как правило напрямиком во двор, где покурив, безвозвратно перелезала через забор.

Разговоры с Дарьей Николаевной – мамой Ани – ничего не дали. Та лишь пожимала плечами и признавалась, что да, ребенок у нее не простой, со сложным характером, но это пройдет: как ни как каждый подросток переживает взросление по своему, а у Ани, может быть, этот процесс немного тяжелее. Дарья Николаевна с первого же разговора не понравилась Ирине Васильевне: слишком она мягка с дочерью; похоже, попускает ей много лишнего, да и сколько можно ссылаться на подростковый возраст и тем искать повод, чтобы не заниматься ребенком?

Не совсем правильное мнение сложилось у Ирины Васильевны о матери Ани, но она по крайней мере не собиралась сидеть и наблюдать как Воскресенская растет чуть ли не беспризорницей, без малейших понятий о должном поведении в обществе. В средствах директор себя не стесняла никогда, какими бы они жесткими не были, тем более, если по ее мнению это должно принести пользу. Зашла она сразу с двух сторон, принявшись одновременно за маму с дочкой. Дабы Дарья Николаевна призадумалась, что дочерью надо заниматься – уделять ребенку чем можно больше внимания, тем более когда Аня растет без отца, Ирина Васильевна обратилась в органы опеки и попечительства, после чего два раза в месяц к Воскресенским стала приходить инспектор Лисенко. Это стало для Дарьи Николаевны унижительным испытанием, но не менее оскорбленной чувствовала себя сама Аня. Хоть бы трижды вселенная вывернулась на изнанку, а звезды поменялись местами с пылью, не простит Аня этого Ирине Васильевне никогда.

Более того – для Ани стало обязательным посещение школьного психолога раз в неделю по пятницам после занятий. Но в этом обстоятельстве, если вселенная все же решит

вывернуться наизнанку, то так и быть, Воскресенская простит директора, потому как хотя по-началу она и бегала назначенных ей приемов у психолога, в итоге Ане самой это стало по душе.

– Думаешь, когда ты потом устроишься работать, твое начальство будет это терпеть? Нет, Анна, тебе надо научиться вести себя как все приличные люди. Ты меня слышишь? – продолжила директор.

– Приличные люди, – хмурясь протянула Аня. – У людей, похоже, только приличие и осталось.

– Что ты имеешь ввиду? – всматривалась она в ученицу.

– Да вот, даже ваша Лисенко, – смотрела Аня в окно. – Все у нее по-приличию. Такая вся из себя доброжелательная, ходит, улыбается, слова вежливые подбирает, а ведь слышно, что каждый ее вопрос со злобой. Только и хочет, чтобы как-нибудь унижить, – сказала Аня и шепотом выругалась. – Наверное, свою пустую жизнь этим заполняет.

Ирина Васильевна смотрела на Аню внимательно, немного округлив глаза.

– Лисенко, это кто?

– Из опеки, которую вы натравили на меня. Ее муж шесть лет назад бросил, а с детьми она не общается. И мне кажется, дело не в них. Хотя... Как там? Яблоко от дерева, или что? В этом дрянном городишке все про всех известно.

– Мда, Анна., – задумчиво обронила Ирина Васильевна. – Никто на тебя никого не натравлял, – собралась она. – Не придумывай. Не мне тебе говорить, что вы живете..., скромно. Все это меры предосторожности. На всякий случай.

– На всякий случай, тогда уж я скажу, – вспыхнула Аня обернувшись к директору, – хватит мне этим тыкать в рожу. Задолбали! – и шепотом добавила: «уроды».

– Успокойся, Анна, – строго сказала директор, подняв тон. – Не забывай, где ты находишься и с кем разговариваешь!

Потянувшись за письменной ручкой на столе, Ирина Васильевна схватила ее пальцами обеих руки и стала вертеть в ладонях. Подняв голову, она посмотрела на Аню, которая снова обратилась к окну, будто что-то высматривая там, но без всякого интереса или ожидания.

– Ты пойми, мы здесь не для того, чтобы мучить тебя. Мы не желаем тебе зла. Все здесь только и работают для того, чтобы каждый из вас нашел себя в жизни; чтобы вы потом, когда станете взрослыми, как положено устроили свою жизнь. По большому счету, профессия учителя в этом и заключается. Мы все желаем вам, и тебе лично, Анна, только добра. Да, могут быть какие-то конфликты среди учителей и учеников, но это всего лишь рабочий процесс, не более. Ты меня понимаешь?

– Вы вызвали меня, чтобы рассказать о том, на сколько вы все здесь заботливы? – повернулась Аня к Ирине Васильевне.

Она тяжело вздохнула и сказала:

– Мда, Анна, у тебя и правда очень тяжелый характер. Что ж, будем надеется, что он тебе пригодится. Может быть упорство послужит тебе в жизни..., в карьере к примеру. Ты же, наверное, уже думала, кем собираешься стать. Кем ты хочешь быть по профессии?

– Надзирателем колонии стану, – не думая ответила Аня.

– О, господи! – вздрогнула Ирина Васильевна. – Ты серьезно? Я думаю, ты способна...

– А чем плоха эта профессия? – перебила ее Аня. – Кто-то же должен стеречь всякую сволочь!

– А ну перестань, – не сильно стукнула она ладонью по столу. – Изволь хотя-бы у меня в

кабинете не выражаться. Ужас, Анна. Это какой-то кошмар!

– Я знаю, – отречено сказала она.

На ветку дерева, напротив окна села галка с черными, как стрелки крыльями вдоль тела и с серой грудью, охватывающей частыми мелкими перышками голову с шеей. Взгляд ее казался выразительным, почти как человеческий, с черными на белом фоне зрачками. Она вертела своим длинным массивным клювом из стороны в сторону, оглядываясь вокруг себя. Потом игриво запрыгала на ветке, словно проверяя ее на прочность. Аня любовалась неожиданным пернатым гостем: в глазах ее мелькнула слабая искорка.

– Ты в курсе, что у нас пропали работы по общественному? – наконец прозвучал вопрос, ради которого и была вызвана Аня.

– Теперь в курсе, – не отрываясь от галки ответила Аня.

– И тебя это ни сколько не удивляет?

– А что меня должно удивлять? – повернулась она к Ирине Васильевне. – Пропали, так пропали. Может кому-то они оказались нужнее, – усмехнулась Аня.

– Интересно было бы узнать, что тебе не все равно, Анна. Как не слушаешь тебя, все для тебя не важно. Ты же, наверняка, сдала свою работу, и разве тебе не жаль, что твой труд пропал даром?

– Вообще не жаль, – покачала она головой. – Наоборот, было бы хорошо, чтобы никто эту мою писанину больше не увидел.

– Почему же?

– Правду написала, вот почему, – отрезала Аня и обратила взгляд к галке. Птица перестала проверять на прочность ветку и уже сидела себе спокойно, смотря куда-то в сторону. Лишь перышки, беспокоимые слабыми ветром, поддергивались на ее груди, спине и затылке. Неожиданно клюв птицы обернулся к Ане и их взгляд пересекся. Казалось, что ее глаза смотрят прямо в зрачки Ани. Это привело Воскресенскую в восторг, от чего она маленько приоткрыла рот. Не отворачивая клюв, галка расправила крылья и, словно примеряясь к ветру, замахала ими на месте. «Скоро, скоро, подожди», – сказала про себя Аня. Галка раскрыла широко клюв гаркнув два раза, взмахнула крыльям и взлетела, пропав из виду.

– Правду, – с грустью повторила Ирина Васильевна и вздохнув, спросила: – Что тебе известно о случившемся?

– Так и спросите: я ли их украла, или нет? – Она пристально смотрела на директора.

– Ну? – откинулась Ирина Васильевна на спинку кресла. – Так ты, Анна? – натянуто улыбнулась она.

– Нет, – твердо ответила Аня, – не я. Если бы я что-то и хотела сделать такое, интересное, то явно не занималась бы тупой кражей каких-то там тетрадей по общественному. Кому они вообще нужны? Только если печь разжигать. Ну, вот и зацепка! – подалась Аня оживленно вперед, положив ладони на колени и чуть улыбнувшись. – Кто живет в частном секторе? Вот с них и начинайте, Ирина Васильевна.

– Все, Воскресенская, – не выдержала директор. – Живо иди на урок. Будешь ты мне тут еще ерничать. Совсем мать распустила! – крикнула она сквозь щелку закрывающейся двери.

На протяжении всего рабочего времени, выход на задний двор школы был открыт. Им пользовались все курящие школьники: проходили вдоль корпуса и заходя за него становилось около ворот, которые оставались неизменно закрытыми во всякое время.

Было время, когда администрация решила начать борьбу с курением самым что ни на есть неподходящим образом – закрыть дверь во двор. Это было зимой, год назад, когда Аня училась в восьмом классе. Тогда по коридорам из туалетов каждую перемену катились густые серые кубы, создавая дымку как при тумане. Сами уборные стали напоминать газовые камеры, в которых и минуту нельзя было простоять, чтобы не ощутить неприятную тяжесть в легких, сухость во рту и жжение в глазах. Одежда, впитывая едкий табак, прочно источала от себя его запах. С месяц потребовалось администрации, дабы понять, что ни численность курящих не уменьшилась, и сами курящие курить меньше не стали, а потому дверь разомкнула свой замок и услуги школьного двора стали вновь всем доступны.

Светлова Лена уже стояла около ворот, когда показалась Аня в своей темно-зеленой куртке со множеством карманов и сумкой через плечо. Шла она как обычно, не спеша, в то время как Лена, увидев сообщение на телефоне, отпросившись выбежала, не сумев накинуть на себя куртку. Прохладно, моросит, поддувает неприятный ветер, а она лишь в юбке да светлой тоненькой блузке, стоит, сомкнув руки на груди – вся замерзла и трясется.

Воскресенская сразу заметила ее поблеклый взгляд, напряженные губы и бледность застывшего лица. Если не быть в курсе, почему столь любвеобильная, жизнерадостная девочка как Лена имеет сейчас такой болезненный, депрессивный вид, можно подумать, что она замерзла до полусмерти и вот-вот может упасть мертвая наземь. Но Аня то ее знает эту свою полярную в настроении подругу. Лене, кажется, не дано прибывать где-то посередине: либо она все на свете любит, всем любит и всему радуется, либо даже самое прекрасное, самое ею любимое становится безразлично или вовсе противно. Это состояние, которое она называла хандрой, заставляет Лену прятаться в себе, закрывая дверь и окна своего существа, и сидеть так во тьме – в мире серых оттенков, до тех пор, пока створки окон сами, не утомившись мраком, устало не приподнимутся и не впустят ослепительный свет, озаряющий красочно исписанные стены дома.

Когда створки закрыты, душный, застоявшийся воздух пропитывается жалостью к себе, руки опускаются, сознание сужается вместе с желаниями и чувствами. Как бы ни было тяжело Лене, привычка, заведенная в ее семье – выглядеть всегда прилежно, опрятно, а в школе еще и строго, срабатывала подобно простому и надежному механизму. Белый верх, темный низ – как этическая заповедь для Лены, собирающейся утром на уроки. Еще с год назад она сменила прическу и теперь у нее не длинные, как у Ани волосы по самые лопатки, а все те же, черные, лоснящиеся, но прической под каре с прелестной челкой на тонкие брови, которая только подчеркивает ее выразительные голубые глаза.

Достав из пачки сигарету и зажигалку, Аня, ничего не сказав, закурила. Как будто не замечая Лены, она повернулась, чтобы оглядеть верхушки деревьев: может быть галка еще где-то здесь, наблюдает за ней, или ждет. Может быть она увидела, что Аня покинула тесный

кабинет и давящие стены школы: убедилась, успокоилась и полетела дальше, свободная, ничем не скованная птица.

– Уже уходишь? – спросила Лена.

– Ага, – присматриваясь к скрюченным голым ветвям деревьев, оживленно сказала Аня. – Была бы ты нормальной, вместе бы сейчас ушли, – добавила она, зная, что никогда бы не взяла подружку с собой.

Светлова ничего не ответила. Она стояла сутулясь, прижав руки к груди; зубы принялись подбивать в такт с дрожью тела.

– Противно на тебя смотреть, – обернулась Аня. – Рожа бледная, как сидущка унитаза. С такой мордой только на улице побираться, и то стороной будут обходить.

– Ладно, я пошла, – сморщив губы, сказала Лена.

– Делай так по чаще. Может быть вид дурочки разжалобит кого и дадут тебе в морду, чтобы поумнела. Да постой ты! У меня теперь ключи от крыши, я замок туда повесила. Пойдем сегодня?

Лена прикусила левую губу.

– Обязательно туда?

– А куда еще! Это лучшее место во всей этажке, да и в нашем захудалом городке тоже, – иронично проговорила она. – Теперь крыша – моя личная собственность. Вот же они удивляться, когда увидят на двери замок, – улыбнулась Аня.

– Кто?

– Не знаю, но ведь туда кто-то же ходит.

Тяжело вздохнув, Лена задумчиво посмотрела в сторону – уйти бы сейчас домой, задвинуть шторы, закрыть дверь своей спальни, упасть на кровать и накрыться одеялом с головой, чтобы ничего не видеть и не слышать, и спать, спать до самого утра, уткнувшись лицом в подушку. Остаться одной у себя в комнате и чтобы никто не тревожил, не звал, не спрашивал: как дела.

– Славно, – одобрительно сказала Аня. – Тогда, как обычно.

– Хорошо, – злясь на себя и на Аню проскрежетала сквозь дрожащие зубы Лена. Всякий раз, когда Светлова тщетно пыталась найти в себе силы, чтобы наконец отказать Ане и настоять на своем – ну хоть попробовать, – она начинала перебирать в голове случаи, когда сказала подружке: «нет, у меня другие планы», или бы соврала, сказав: «ой, я же маме обещала...» Но нет, Лене обязательно надо промолчать и с огорчением вздохнуть, что стало восприниматься Аней как безоговорочное согласие.

Это еще хорошо, что Воскресенская не всякий раз таскает ее с собой, иначе ей бы пришлось ходить туда, возможно, несколько раз на дню, как казалось Лене. Кто знает эту Воскресенская! Лена представления не имела, где Аня гуляет, что она вообще делает на этой этажке, тем более одна, когда даже Световой вдвоем с подругой жуть как страшно пробираться через эту холодную темень.

– Лен! – крикнула Аня уходящей подружке. – Наушники забыла что-ли?

Бескрайними горизонтами повисли над всем миром мрачные, свирепые, неподвижные тучи, жадно скрывающие над собой теплые лучи солнца. Ветер, снующий по улицам и

переулкам городка, как мелкий проказник, боится подняться выше и прогнать прочь тяжелые массивы небесных гор, испуганный их сурово-старческим видом. Морось, осыпаемая ими на слабую, не проснувшуюся почву, лишь напоминает проказнику, насколько он немощен, труслив и мелочен, и не может он большего, чем надоедать своей мерзлостью смертным людям.

Выбросив на землю тлеющий окурок среди множества других: пожелтевших, почерневших и отсыревших, Аня поправила лямку сумки на плече и принялась карабкаться вверх по воротам школьного двора. Когда-то она ставила ноги задумавшись и оглядываясь, примеряясь цеплялась пальцами, но теперь, словно кошка, в сотый раз карабкающаяся на одно и то же дерево – все движения делала не задумываясь, с необыкновенной легкостью. Не она одна уходит с уроков таким путем, но с уверенностью можно сказать, что ни один школьник не взбирается по этим воротам так ловко и быстро, совершенно не задумываясь, как Аня. Занеся обе ноги за ворота, она также легко спрыгнула наземь и вложив в уши красные наушники Лены, достала телефон и включила музыку. Аня пошла гулять.

Всякий раз, когда Воскресенская собиралась погулять, она не думала куда ей идти – в какую сторону направиться. Гораздо интереснее, приятнее просто идти: сначала прямо, а там уже как выйдет – захочет, свернет налево, либо обойдет парк; может быть она заглянет во дворы домов улицы Лесная, где в том году отремонтировали детские площадки, либо решит выйти на Южную – до сих пор там глубокие ямы на дороге, а по тротуару приходится идти, постоянно обращая внимание себе под ноги.

Если выйти на Речную, то можно присесть на лавочке в сквере и наблюдать за сплоченной стаей бездомных собак. Иногда Аня специально ходила на Речную, чтобы побаловать себя забавным зрелищем: как бегают чем-то озадаченные псы, иногда немного разбегаются, а вожак всегда оглядывается – присматривает за подопечными. Это зрелище очень веселило Аню, хотя по ней и не скажешь: в душе она смеялась, а на лице все одно – застывший суровый насупленный вид.

Всякий раз Аня приходила на пруд, который находится недалеко от центра. Как и у всего городка, вид у него неважный, пока из почвы вокруг тропинок и скамеек не полезет трава, а на ветвях не полопаются почки стремительно нарастающей листвы. В марте унылый, мрачный, пожалуй, видом своим отталкивающий, но совсем наоборот, когда на пруд слетаются утки и селятся на его водах. К этому времени уже расцветать клумбы и вид преобразуется в противоположный – всякий глаз радующий и не трогающий лишь самые безнадежно черствые сердца.

Тут, на пруду, если пройти по извилистой дорожке, вдоль которой расположились деревянные скамейки с закругленным металлическим каркасом по краям, можно дойти до единственного большого кустарника черемухи, а прямо под ним – любимая лавочка Ани. Здесь особенно красиво в мае, когда черемуха расцветает белоснежными цветами и совершенно скрывает из виду скамейку так, что с дорожки ее вовсе не видно. Зато обзор на сам пруд – на его рябистую гладь, остается прежним, ни чем не прикрытым, разве что немного листвой слева стоящего молодого деревца.

Если скамья не занята, Аня по долгу сидела на ней, разглядывая как по голубому небу плывут утки. Да, она наблюдая отражение в воде, представляла, что утки плавают именно по небу: живому, рябистую и столь близкому, что можно было подойти к нему и опустить в его глубины руки. И так делала Аня: трогала голубое, влажное, приятно-прохладное небо своими руками; щупала его облака изнутри. Невероятное ощущение! Когда небо так близко, земля

уносится прочь со всей той грязью, которой люди успели ее непоправимо испачкать, навеки осквернив.

Едва ли возможно предугадать мгновение, когда теснящая непогода настроения со всеми ее тревогами и довлеющими мыслями, вдруг расступается и словно перед глазами обнаруживает незримый, благотворный свет. Ему нет ни преград, ни препятствий; ничего вокруг не интересно ему, кроме грустных и беспокойных сердец, уставших от самих себя, от своего тревожного биения – загнанных в углы противоречий. И нет им, молодым и старым, отдушины, кроме незримого, благородного света, который делает каждый удар легким и приятным, прогоняя тревоги и сомнения.

Нет больше одиночество – мир пришел взглянуть на Аню; мир радуется ей, приветствует ее как свою родную, на долго потерявшуюся и где-то блуждавшую, самую любимую свою сестру.

Облокотившись на спинку скамьи, Аня, закрыв глаза, откинула голову назад. Она тоже радовалась вместе с ним: дружественно приветствовала его, открываясь ему всем своим добрым сердцем. Как прекрасны эти минуты! Жаль только, что коротки они и смехотворно редки, как волшебные сны.

Кто так хорошо может знать этот невзрачный городок, как не Воскресенская? Не нужно обладать феноменальной памятью, чтобы запомнить где какая улица проходит, с какой та или иная пересекается, и что в том или другом месте находится. Нет ничего сверх обычного, чтобы знать несколько улиц и районов города, в котором центр и периферия практически представляют из себя одно и тоже – настолько он мал. Но в отличии от всех, Аня помнила каждый дом до мелочей, так сказать, в лицо; знала каждый угол двора, каждое дерево; знала детали, которые никто другой не замечает. Она бы и сама не обращала на них внимание, да помнила все досконально и каждое незначительное изменение бросалось в глаза, порой досадно и неприятно.

Может быть Аня предпочла бы видеть город застывшим, со временем не меняющимся. Она, возможно, более чутко, нежели остальные, как-то по-особому, по-своему чувствовала родной городок. Так или иначе, Аня каждый раз только утверждалась во мнении, что все новое сродни дрянной краске, которой закрасили прогнившую жестяную банку. В конце концов, ржавчина сожрет или отторгнет любой цвет, какой бы он не был. Ни чем, никогда и ни за что не избавиться от сути, от пугающих глубин, которые не лгут, но до поры молчат. Можно обманывать кого угодно, с большим успехом саму себя, но и тогда не будет большего для тебя чужака, чем ты сама.

Аня не считала себя единственной обладательницей правды, узревшей ту неясную суть, призрак которой далеко мелькал в воображении. Она также, как и все, была обманута – и гораздо хуже. С самого рождения она стала посмешищем, над которой глумиться весь мир – усмехается злорадная Судьба. Ее без спроса, без желанья выволокли на эту грязную слизкую землю и сказали: «Иди, живи и радуйся». Часто, назло повторяли: «Радуйся, веселись, наслаждайся жизнью», но ведь Аня то понимала, что это низкая, мелочная шутка: слишком не смешная и обидная. Может быть кому-то там весело, но далеко не Ане. Невыносимо осознавать нелепость своего существования!

С несколько недель Аня, всякий раз спускаясь по Каменной, возмущалась, приходила в крайнее, но молчаливое недовольство от жалящей глаза зеленой прямоугольной вывески кофейни с черными буквами на ней: «Книжное кафе – Вкус мысли». Раньше, думала она,

когда помещение пустовало и казалось совсем заброшенным, было намного лучше: эта улица города смотрелась искреннее, правдоподобнее, как и следует. Теперь же на ней появилась какая-то неестественная, приукрашенная ширма, подобно тому, как покрасили старый, осыпавшийся дом: он скоро рухнет, его балки сломаются под тяжестью безвозвратного времени, а краска... Краска как злая насмешка!

Сейчас, находясь на другой стороне дороги напротив кофейни, откуда вышла средних лет женщина с пластиковым стаканом в руке, Аня стояла, пытаясь решить непростую дилемму: заходить, или нет. Одна мысль: появиться там, слиться с этой фасадной маской, оскверниться какой-то оскорбительной ложью, уже коробило ее посеревшую юную душу. Чем больше она размышляла об этом, тем назойливее ее брови напоздали на глаза, а губы, напряженно сжимаясь, выпячивались вперед. Посмотреть со стороны: так девочка стоит на судьбоносном перепутье, решая ход дальнейшей своей жизни. Не будь ее лицо до того серьезным, что непременно вызовет улыбку у прохожего, можно было бы испугаться, подумав: как же это несправедливо, что на столь маленькое создание возложена такая непосильная задача.

В жизни она бы и не подумала туда заходить, если бы не заметила вывеску на двери: «Любая книга за 100 рублей». Дело же в том, что у Ани закончились непрочитанные книги, а к чтению – надо сказать – она пристрастилась, и произошло это ровно тогда, когда она решила стать сама по себе, то есть в период ее крутого преобразования.

Конечно, желательнее было бы как раньше: читать книжки с телефона, что Аню вполне устраивало, но как на зло, несколько месяцев назад заряд батареи стал столь же быстротечен, как школьные перерывы между уроками. Можно было и взять деньги у Ленки, пойти в местный книжный магазин, но разве есть что-то более противное и омерзительное, чем этот торговый центр со всеми его масками, ширмами и дрянными красками! И этот книжный магазин... Скверное место! Там обязательно какой-то продавец увяжется за Аней и будет наблюдать за ней, проходя по рядам и делая вид, что занят чем-то другим, но только не высматриванием нервной девочки между стеллажами книг. За Аней почему-то всегда особенно следят, и это она чутко замечала и жутко тому раздражалась.

Когда стала ясно, что Воскресенской все же придется идти в кофейню, она, громко выругавшись и добавив ко всему сказанному: «уроды», не глядя по сторонам дороги, пошла на другую сторону улицы.

Слух пронзил невыносимый звон над головой, когда Аня резко, с остервенением дернула на себя входную дверь. К двери сверху был прикреплен маленький бронзового цвета колокольчик, который всякий раз радостно приветствовал посетителя. Почувствовав на себе разрушительный гневный взгляд поднятой вверх рыжей головы, колокольчик мигом замер. Раздраженная предательским звоном, Аня с силой хлопнула дверь, от чего колокольчик судорожно, и явно уже против своего желания, забился как в предсмертной агонии.

Из-за стойки молча поднялось невозмутимое вытянутое лицо, замершее в ожидании потребительских требований юной посетительницы.

– Книги! – коротко сказала Аня, бросив в Николая заблестевший от бешенства взгляд. Он молча протянул руку в сторону помещения, по стенам которого беспорядочно висели полупустые полки.

Аня подошла к первой попавшейся полке, посмотрела на нее, потом на неподвижно стоявшего Николая, потом опять на полку, и снова на Николая.

– Вот только следить за мной не надо, – прошептала Аня сквозь сжатые от раздражения зубы. Невозмутимый Николай скрылся за стойкой.

Присматриваясь к каждой книге, порой снимая с полки и листая, открывая содержание и кое-где наугад прочитывая абзац, она то становилась на цыпочки задирая голову, то приседала на корточки, а после, морщась поднималась в рост. Вскоре Аню охватило разочарование, а с нею явилась и небольшая обида – интересного ничего не попадалось. Она не искала чего-то определенного, да и почти все авторы – за исключением двух – были для нее неизвестны. Как обычно, она опиралась на свою интуицию, ведь та не раз верно указывала Ане на стоящую вещь. Так она нашла, к примеру, повесть о войне Андреева, которая поразила ее до глубины души каждой своей строчной, буквально пропитанной безумием и сумасшествием. Таким же методом Аня подобрала книгу одной австралийской писательницы о бедном новозеландском семействе, переехавшем в Австралию, история которой растрогала Воскресенскую без преувеличений, до слез, которых она стыдилась.

Похоже, думала Аня, надо будет брать деньги у Лены и идти с ней в книжный магазин. Обязательно с ней, потому как Аня едва ли выдержит все эти преследования продавца, снующего между стеллажами и непременно психанет, затовав с суровым, напускным видом к выходу.

Оставалась самая последняя, высоко висящая на стене – почти под потолком – полка. Маленькой ростом Ане пришлось не только закинуть назад голову, от чего уже начинали ныть мускулы шеи у затылка, но и пришлось немного отойти назад, чтобы разглядеть, какие книги можно оттуда снять. Опять ничего – каких-то семь неизвестных Ане книг с названиями, совершенно не привлекающих ее внимание. Лишь с боку одна известная всем фамилия. Воскресенская читала только одну его книгу об униженных людях, которая, по правде говоря, оставила в памяти Ани вполне добротное впечатление, хотя местами и была скучновата.

Тут выбирать более нечего: либо классик, либо завтра в магазин с Ленкой – этой кислой морщащей губы физиономией, на которую смотреть противно. Не долго думая, Аня выдернула стул из под стола, поставила напротив полки и запрыгнула, встав на него своими грязными зимними ботинками с высокой подошвой. Сняв книгу, она громко спрыгнула на пол и оставив куски сырой грязи на сидении, задвинули стул обратно.

Когда Аня подошла к стойке, Николай уже ожидал маленькую хмурую посетительницу – первую, кто заинтересовалась книгами. Он поднялся на шум ударивших об пол тяжелых ботинок. Заметил он, что Воскресенская перепачкала стул, или нет, либо не придавал этому особого значения, но Соболев молчал, как постоянно молчал его отчужденный взгляд.

– Сто? – положила она книгу на стойку.

– Да, – кратко ответил Николай.

Достав из кармана джинсов мятую, затертую и прилично надорванную в центре сторублевую купюру, Аня небрежно бросила ее около книги. Взгляд ее упал на витрину, в стекле которого слабыми очертаниями отражался интерьер кофейни, а за ним, скопом, лишь разделенные ярусами витрины, лежали кондитерские изделия с фаст-фудом. Всякое утро игнорируемый, никотином растравленный в течении дня желудок незамедлительно отреагировал, да так, как не могла ожидать того Аня: живот больно крутануло, а после, словно каким тупым лезвием, полоснуло изнутри. Задержись боль еще на секунду, Аня бы согнулась чуть ли не вдвое, схватившись за живот руками. Но стандартные решения не дня Воскресенской, которая тут же решила, что кофе с сахаром вполне сойдет, чтобы успокоить

взбунтовавшийся желудок, тем более она не пила хороший кофе с тех самых пор, когда Лена повела ее в кинотеатр, и в тот же день, Аня, злая, как затравленная оса, сказала, что в кинотеатре она в последний раз в жизни и нога ее больше не ступит в «этот термитник снующих и постоянно жрущих уродов».

– Латте, средний, – сказала Аня, уверенная, что на стакан кофе мелочи у нее то предостаточно. Так и есть – давно у Ани не проседали так карманы куртки под тяжестью монет: еще и останется. – Сладкий, – после добавила она.

Но опять кольнуло, порезало, закрутило, аж отдало в горло чем-то жгучим. Морщась от боли, Аня в поясе подалась вперед, чуть согнувшись. Ужасно не хотелось сейчас стоять у прилавка и считать эти копейки, как это постоянно делает в магазине мама – долго считает, пока за ее спиной не скопится целая вереница озабоченных лиц. Пару раз стерпев это «унижение», Аня больше не ходила с ней в магазин.

Пока кофеварка шипела, неспешной струей заполняя стакан готовым горячим кофе, Аня все же не выдержав режущей боли, ткнула указательным пальцем в стекло витрины и сказала:

– Еще этих два, – а после добавила, – горячими.

Когда перед глазами Ани со стаканом латте стояла белая тарелка с двумя горячими бутербродами, а возле них книга, Николай озвучил цену ее удовольствия, а в ответ получил звон множества сыпавшихся из обеих рук на стойку монет. Держа руки в карманах и сжав в кулачках всю мелочь, Аня морально готовилась к этому унижительному, как считала, моменту, а когда невозмутимый Соболев стал отсчитывать монету за монетой, Воскресенская с опаской косилась на входную дверь – как бы кто ее не застал при столь ужасно стыдливых обстоятельствах. Если бы кто зашел в кофейню в эту же самую минуту, возможно, Аня, никогда и ни при каких обстоятельствах не краснеющая, тут же бы залилась краской. Но все обошлось – еще сорок рублей оказались лишними.

И все же чего-то не хватало, и Аня не сразу сообразила, чего именно.

– Так сахар где? – поняв, возмутилась она. К двум уже лежащим на стойке пакетикам, рука Николая добавила еще два – таких же невзрачных, словно пустых, худых, чуть ли не прозрачных пакетиков сахара.

Не без удивления на происходящее, протяжно помахав головой, Аня сказала, что этого мало, всем видом давая понять, что без сахара не сдвинется с места, а то, что видит перед собой, и сахаром назвать нельзя. Смех один! К четырем прибавилось еще два. «Да он издевается!», – подумала Аня.

– Да как же.., – вспылила она, от возмущения подавившись словами. – Это же совсем ничего!

Восемь пакетиков не придали ей уверенности, что этого достаточно, но, видно, Николай, как решила Аня, совсем жмот, причем особенной, редкой породы. Она громко, как бы в знак протеста, фыркнула, сунув подмышку книгу и подобрав стакан с тарелкой, пошла к столику.

За забором десятилетиями назад заброшенной стройкой, прозванной подростками этажкой, город из четырех и пятиэтажных домов контрастно переливается в будто бы

вымирающую деревню со множеством оставленных, пустующих, маленьких деревянных, порой кирпичных, осыпающихся, покосившихся, где-то с обрушенной кровлей или стеной, домов. Пожалуй, это и есть его окраина, представляющая из себя забытую часть города с увядающими престарелыми жителями. Те, кто остались и кто готов еще жить будущим, как несколько семей, которых единицы, безуспешно пытаются продать свои дома с участком, год от года снижая цену. Остальные же – это старики, дети и внуки которых давно перебрались ближе к центру или вовсе покинули этот городок. Впрочем, для людей пожилых это не самое худшее место, ведь всегда найдется занятие, столь необходимое под старость лет, что обеспечивает огород или сад, да и сам дом, требующий к себе постоянного внимания.

На самом краю этой городской деревни остался только один дом, в котором пока еще не забиты окна. Каждый раз, когда Аня подходит к не закрывающейся калитке забора, она думает, что не долгов тот час, когда ей лично придется вколачивать гвозди в рамы его окон. Правда, она никогда не понимала, зачем это делается. Не редко Аня ловила себя на мысли, что чем раньше, тем, наверное, и лучше. Но не могла понять – правильна ли эта мысль и как с ней обходиться: позволять бесцельно блуждать среди прочих, или вернее всего стыдиться ее. Что-то, некое чутье подсказывало, что мысль эта, навязчиво посещающая каждый вторник, не столь уж и бесчеловечна.

Во дворе все также: с самого лета прошлого года около деревянной собачьей будки, на земле лежала нетронутая цепь с ошейником на ее конце. Старый, почти ослепший и совсем глухой Норд умер в конце июня жаркой ночью во сне, но судя по морде, не безболезненно: пасть разинута, а неживые глаза устремились куда-то вдаль вечного покоя. Хорошо, что это было в ночь с понедельника на вторник, ведь Аня приходит в этот дом только каждый второй день недели. Случись это в середине недели, труп бы так и лежал нетронутым под палящим солнцем, дожидаясь Аню. Пришлось бы капать прямо во дворе, около тела, чтобы поскорее сбросить его и избавиться от отвратительного зловония. Но Аня уже давно решила, что когда Норд умрет, она отнесет его тело ближе к лесу – до которого не долго пешком – и там похоронит около какого-нибудь старого дерева. Так она и сделала: из под лестницы достала лопату, выкатила тележку и отправилась провожать пса к последнему его пристанищу.

Тремя короткими ударами руки Аня постучалась в дверь. Вера Ивановна плохо видела, но хорошо слышала.

– Яна, это ты? – послышалось из комнат.

– Да, Вера Ивановна, я, – ответила Аня.

Хозяйка ходила тяжело переставляя отекавшие ноги, руками постоянно цепляясь за стены и шаткую мебель. Ане приходилось с несколько минут ждать, пока Вера Ивановна пройдет несколько метров, чтобы открыть ей дверь.

– Сейчас-сейчас, милая, – шаркая ногами, говорила Вера Ивановна.

За то время, пока она шла, раньше Аня могла погладить Норда: поговорить с ним, спросить как дела, от чего тот не по старости своих собачьих лет оживлялся и словно отвечал ей, высовывая язык и облизывая свой нос; отвечал, что ничего, терпимо Аня, пока еще все хорошо.

В проходе отворившейся двери показалась женщина за шестьдесят лет, хотя по виду все восемьдесят. Руки иссохли, а на худом лице не оставалось места, где не прорезались морщины. На лицо были одеты большие очки с толстыми линзами, увеличивающими ее глаза почти вдвое, но и в них она уже плохо видела. Увидев перед собой Аню, она по-старчески посмеялась.

– Как хорошо, что ты не забываешь меня, дорогая. Ноги уже совсем не слушаются. Гляди, уже скоро лягу и больше не встану.

– Вам что-нибудь нужно? – быстро спросила Аня. Ей тяжело было смотреть на эту женщину, как и не легко приходиться к этому дому, но не ходить Аня не могла. Вот уже около года, каждый вторник, начиная с первого своего визита, Воскресенская исправно ходит, даже в болезни и с высокой температурой. Ни разу она не позволила себе не прийти к двери этого увядающего дома.

– Да, Яна, дорогая, как обычно. Вот, держи. – Она слабой рукой протянула Ане несколько купюр.

– Вы только не закрывайте дверь, – выхватила деньги. – Я скоро приду. Никто не зайдет.

– Хорошо, хорошо, – соглашалась Вера Ивановна. – Я тогда здесь пока посижу, а ты сходишь.

– Не обязательно, Вера Ивановна, идите в спальню. Сидите там уже, – раздражалась Аня.

– Яночка, будь добра, там хватит. – Изрезавшие лицо морщины стали углубляться. – Возьми бутылочку. Ты же знаешь, я одинока, а это так непросто, – грустно-выпрашиваемая улыбка не сходила с ее морщинистого лица.

– Ладно, – нехотя сказала Аня, – если будет.

– Будет, будет. Там всегда есть, – оживилась Вера Ивановна.

Магазин находился во дворе одного из частных домов, расположенных ближе к центру города, где-то в три десятка метров за этажкой, только правее от нее. Вместе с этими домами он день от дня старел, увядал, осыпался заодно с его продавщицей. «Скоро и здесь все сдохнет», – подумала Аня, положив деньги на прилавок и складывая продукты в пакет.

– Как она там? – поинтересовалась продавщица.

– Нормально, – смешав буквы слова в один звук, ответила Аня. – Водку еще дайте.

Возвращаясь в дом, Аня складывала продукты по заведенным для них местам, зная кухню Веры Ивановны не хуже своей. Замечая не мытую посуду, она принималась и за нее. Порой, если видела, что на полу образовался уже видимый слой занесенной грязи – мыла полы; если скудная мебель становилась серой – протирала мебель. Аня не собиралась приводить весь дом в порядок, но местами поддерживала видимую чистоту, всякий раз ругаясь скороговорками себе под нос.

Всегда что-то заставляло Аню после всех дел ненадолго остаться с Верой Ивановной, словно ее долгом было уделить женщине некоторое внимание помимо покупки продуктов и редкой уборки дома. Аня присядет на шатающийся стул у окна в спальне, а Вера Ивановна на свою кровать, с которой почти не слазит. С минут пять они молча сидят: Вера Ивановна смотрит в мутное окно, силясь что-то припомнить, а Аня только блуждает взглядом по полу, по стене, посмотрит в угол, поднимает голову приоткрыв рот. Воскресенская только выжидала – минут десять посидеть и можно уходит с чистой совестью, но всякий раз молчание становилось тяжелым, изнывающим. Тогда Аня старалась думать об отвлеченных вещах: к примеру о Норде.

– Вы вместе дружили? – в бесчисленный раз спрашивает Вера Ивановна.

– Да, – тяжело выдыхала Аня, – мы дружили.

– Он всегда был баловнем, мой мальчик. В последнее время, так совсем. Вот здесь кресло стояло, так он его отнес и продал кому-то, а после весь день пьяный ходил. Бывало, вижу, схватит на кухне нож и побежит за Василием. И чем он ему не угодил? – не знаю.

Совсем голову терял, если напьется. Потом то Васька понял, от греха то подальше стал быстро по нашей дороге проезжать. Летом во какую пыль поднимал. Бедный мой мальчик, – грустная, натянутая улыбка задрожала. – Я всегда знала, что он не хорошо кончит.

– Пойду я, – сказала Аня, встав со стула. – Можете не закрывать. Никто не зайдет.

Со стороны этажка смотрелась зданием в четыре этажа, хотя высокие потолки возвышали ее как во все шесть. Полных этажей в ней только три; четвертый же только с улицы казался полноценным за счет того, что обнесен стенами, которые то стояли, а вот потолок поставить не успели. Самое высокое и недостроенное здание города символично возвышалось над ним, словно череп гиганта с короной на голове. И смотрят непрестанно на город уродливые, беспорядочно разбросанные, редкие черные прямоугольные впадины вместо глазниц.

Когда Аня всматривалась в этот каркас, ей всегда виделось перекошенное серое мертвое лицо с маленьким черным ртом и большими глазами. От этого только холодело в спине. Не хотелось видеть этого лица, но оно вырисовывалось само собой, а потому Аня старалась не смотреть на этажку, особенно, когда собиралась идти внутрь. Если с внешней стороны здание смотрится пугающе, отталкивающе, то внутри еще хуже; и идти туда с мыслью, чтоходишь в мертвую голову через ее безобразной рот; что будто бы череп проглатывает тебя, обволакивая холодной непроглядной тьмой, было совсем жутко.

Лена упрочилась в мысли, что Ане почему-то очень нравится ходить в это неприятное место. «Не поймешь эту Аньку», – теряясь в возможных доводах, заключала Лена. Впрочем, Аня сама, целенаправленно утвердила подругу во мнении, что это чуть ли не ее любимое место; даже придумала историю своей первой единоличной вылазки, полностью вымышленную и неправдоподобную. Вот бы удивилась Светлова, узнав, что ее бойкая подружка на самом деле содрогается вплоть до костей при виде этих холодных стен. Неудивительно, если вдруг, каким-то образом станет известно, что Аня то боится гораздо, гораздо больше Лены это заброшенное здание, которое все же довольно часто посещает.

Впервые ей показал этажку Наумов Олег, который бывал там чуть ли не каждый день. Долго она не решалась даже пролезть через ограду. Тогда еще Аня не стеснялась признаваться в своих страхах: была она намного более открыта и доверчива, тем более перед другом. Наумов ее понимал, как обоим казалось, словно кровную сестру; будто бы они с самого рождения младенцами лежали в одной кроватке, друг другу смеялись, улыбались, вместе дрались. Самым любимым местом Наумова была большая комната на втором этаже, в которой нет окон и только один вход. Эту то комнату первым делом и показал Олег, но большее время они все же проводили на крыше. Тогда то Аня и пристрастилась к портвейну и начала курить. Сам тот Наумов предпочитал напитки куда более крепче, но всегда – сам не имея на то средств – доставал Ане ее портвейн.

Он был на полтора года старше Ани, но учился в параллельном «В» классе, в котором числится Светлова. Раньше Аню искренне восхищало в нем умение относиться ко всему, абсолютно ко всему с юмором и иронией – смотреть на вещи, даже пугающие, с непоколебимой улыбкой не только на лице, но и в глазах. Он будто бы смеялся в лицо своей же судьбы, чего Ане так порой остро не хватает. Если мрак, окутывающий душу, только делал Наумова веселее – хотя-бы внешне, – разглаживал черты его лица, то у Ани наоборот: надвигал брови на глаза, ожесточал взгляд и заставлял выпячивать опустившиеся в краях

губы.

Только потом, когда уже все произошло, сердце успокоилось и настало время подумать, Аня поняла, что Наумов был из тех людей, которые желают дотронуться до дна, и чем страшнее ему было, тем он больше смеялся. Правда, один раз она видела его слезы, хотя не трезвые. Тогда он признался Ане, что очень боится умирать, но говорил Наумов так, будто бы это обязательно должно было случиться в скором времени. Но после этого он стал еще больше шутить и смеяться – весело напевать песни любимой музыкальной рок-группы. «Как предчувствовал!» Не мало загадок он оставил Ане. «Урод», – вспоминала она о нем со злобой и сестринской любовью. – «Оставил меня одну! Самому то уже не страшно!»

К шести вечера уже изрядно темнело – все еще рано наступала ночь. Серое, свинцовое небо, медленно растворялось во мгле уходящего на покой солнца. Возможно, звезда когда-то, тысячи лет назад, противилась подобным переменам, не желая уступать свое царское место в зените небосвода, но со временем, старея, поняла звезда, что не будь этих перемен, не было бы надобности в ней. Но как же гордо солнце от одной только мысли своего смысла! Будь оно вечно, легко бы отдало свое бессмертие, лишь бы оставаться звеном в умном круговороте вещей.

Желая, радуясь своему временному забвению, солнце покидало людей и темная пелена все напористее опускалась на город. Зажглись фонари, оставляя под собой блеклые островки света. Кое-где они сдавались – от испуга лампочки перегревались и меркли, навсегда погаснув. Со своим особым воплем, с треском, в страхе перед тьмой, безвозвратно обрывали раскаленную спираль. Скоро она остынет, станет совсем холодной – как земля.

В ожидании подруги, Аня стояла на тротуаре под светом фонаря. Взгляд ее устремился куда-то в конец улицы, где в темени терялась дорога. Эта улица всегда пустует – и днем и ночью; редко увидишь прохожего на ней. Свет над головой Ани замелькал – она посмотрела на фонарь. Лампа словно задержалась, забила как в болезненной конвульсии, из последних сил борясь с неотвратимой мглой. Словно беспристрастный зритель, Аня смотрела на лампу в ожидании исхода борьбы.

Триск. Лампочки надорвалась. Свет побежал к спирали, обнял ее и исчез. Аня посмотрела в конец улицы. Там все еще горели все имеющиеся фонари.

– Уроды, – сурово сказала она.

Показалась Лена. Шла она вдоль улицы не спеша, медленно переставляя ноги. Как бы не охота ей было, она никогда не опаздывала, в отличии от Ани, которая могла это сделать намеренно, назло подруге, в дни особо поганого настроения. Молча подойдя, Лена посмотрела в глаза Ани, словно говоря: «Ну, веди Анька. Раз вытащила меня, веди. Вообще, делай, что хочешь – мне уже все равно. Как же я ненавижу эту твою этажку! Похоже, что и тебя, Анька, я тоже терпеть не могу». Словно вступая в разговор, Аня ответила взглядом: «Куда ты от меня то, кислая морда, денешься?».

Воскресенская шла первой. Они прошли вдоль сетчатого забора с левой стороны. Остановившись, Аня отодвинула рябицу и ловко проскользнув первой, придержала ее для Лены. Та стояла, сложив руки на груди, отречено созерцая открывшийся перед ней проход.

– Ну! – нетерпеливо сказала Аня. Вздохнув, Лена злобно бросила взгляд на Аню и

полезла за ней, медленно, оглядываясь по сторонам, чтобы нигде не зацепиться. Пока подруга пролазила, Ане захотелось отпустить сетку забора, чтобы тот влетел прямо в ее недовольную физиономию. До того раздражал Аню вид Лены.

На площадке заброшенной стройки было уже довольно темно. Дорога с возвышающимися над ней фонарями почти скрылась из виду. Лица размывались скрывая эмоции, являя только общие черты. Впрочем, раздраженные подруги и не смотрели друг на друга: Аня продолжала идти впереди, за ней потупившая голову Лена не спуская руки с груди.

Огибая пачки бетонных плит, груды стальных прутьев, брошенных вместе со строительством; ступая на множество почерневших и свежих окурков, упаковок от чипсов и различных бумажек, валяющихся на сырой земле и местами поросшей травы; задевая пластиковые и стеклянные бутылки, в основном от дешевого пива, подруги подошли к черному проему: один из входов в череп гиганта.

– Будешь светить. Включай фонарик, – сказала Аня.

Устало, прикусив нижнюю губу, тем самым демонстрируя свое недовольство всем происходящим, Лена достала телефон и подруги пошли вглубь мрака. Даже днем здесь непролазная темень – без фонарика совсем никуда.

С каждым шагом – чем дальше вглубь – Аня все более раздражала Лену; даже смотреть в ее спину было противно до отвращения. Назло, она специально опускала фонарик ниже себе под ноги, заставляя Аню идти в слепую.

– Да свети же ты! Тупая совсем? – не выдержала Аня, обернувшись к подруге.

Предстояло пройти просторное помещение по периметру которого было разбросано множество дверных проемов, но нужно было попасть на лестницу, а к ней отсюда можно выйти только определенным ходом. Аня знала – это третий проем справа. Вообще, она могла бы пройти и на ощупь, не глядя выйти на лестницу, вот только вслепую ступать было опасно. Всюду валялись бутылки, камни, кирпичи, даже кем-то были принесены детские игрушки: пластиковые куклы, разорванные плюшевые зверюшки, но их можно было увидеть не часто.

– Ты не боишься, что когда-нибудь тебя здесь изнасилуют? – понизив голос, язвительно прошипела Лена, будто они уже попали в какую-то беду. – И меня вместе с тобой.

– Ну и что, – спокойно и шепотом ответила Аня. – Сейчас или потом. Какая разница, кто?

– Фу! – протянула Лена. – Какая ты, оказывается, мерзкая. Будет наркоман какой-то. Потом спидозной всю жизнь будешь ходить. – Лене хотелось уколоть подругу и ей показалось, что это у нее вышло. Но Аня не подавала признаков обиды; ее интонация в голосе оставалась непоколебима, отчасти от того, что сама была больше сконцентрирована на своем страхе. Она пыталась держать себя, чтобы не пошатнуться на ослабевших, дрожащих ногах; чтобы Лена не видела, как на ее спине дергаются мышцы. Лицо ее опять насунилось – так легче всего скрыть свои настоящие эмоции. Не умеет она смеяться, как это делал Наумов; хоть хмуриться будет.

Правда, мысль об изнасиловании покорило Аню; она раньше об этом и не думала. Но до чего же противно стало! Тошнота подступила к горлу, а в висках неприятно застучало. Впрочем, это скорее всего от быстрого притока крови, разгоняемой испуганным сердцем. И все же, до чего неприятна одна мысль об этом! Врезать бы Ленке только за это по ее лицу, чтобы сразу в кровь; оставить на память пару ярко-красных трещин на припухшей губе!

– Сама только об этом и думаешь, – отомстила Аня.

– Дура что-ли? Тебе может все равно...

– Если говоришь, значит только об этом и думаешь, – отрезала она. – Все, заткнись!

Может здесь вправду кто есть, – шепотом сказала Аня.

Лена притихла и больше не открывала рот. Напуганная, подсвечивала телефоном Ане под ноги, чтобы та шла ровно, не задела бы чего на полу и тем не натворила ненужного шума. Анька права – надо идти тихо и не болтать. Вот закончится все это мучение и Лена подберет пару язвительных слов, чтобы снова задеть ее. Но на Воскресенской особо не отыграешься за подавленное настроение от хандры, а ведь больше не на кем. Лену она тоже может уколоть каким другим словечком, и часто даже более обидным, но хоть какая-та отдушина от подруги. Не забывая прошлого, Лена всегда воспринимала Аню как свою опору, даже в том, что на эту самую опору иногда можно вылить немного скопившейся желчи. Ане ничего не станет – она сама будто в ней купается.

Два сердечка бились чуть ли не в такт. Кровь каждой быстро пульсировала по венам, отдаваясь глухими ударами в ушах. Только крошечная тишина тьмы слышит волнительную мелодию двух молодых сердец, словно теплую музыку жизни среди пустого, безжизненного холодного пространства этажки.

Подруги уже шли по лестнице, подбираясь ко второму этажу, как Аня неожиданно остановилась и шепотом сказала:

– Тихо! Ты слышала?

В тених лица Лены, подчеркнутых отраженным от пола светом фонарика, блеснула мокрая пелена на нижних веках глаз. Скулы заметно приподнялись, а нижняя губа медленно опустилась, и она, обращаясь к Ане, умоляюще простонала:

– Пожалуйста, пойдет отсюда.

– Быстрее. Побежали, – сказала Аня и быстро рванула вверх, перешагивая через одну ступеньку. Лена – не думая – за ней. Только и слышала Аня за спиной дрожащий голос, чуть не срывающийся на крик:

– Я тебе говорила! Я же тебе говорила!

В ушах встал непрерывный гул от быстрого кровотока в перепонках. Убегая вверх, присматриваясь к ступенькам лестницы и стараясь светить не только себе под ноги, но и Ане, Светлова почувствовала как затряслись ее руки. Она стиснула рукой телефон, чтобы не выронить его. По щекам щекотно побежали слезы. Страшно думать, что может сейчас с ними статья.

Казалось, что внизу раздаются какие-то шумы. Это, верно, кто-то бежит за ними. На черных пролетает лестницы мерещилось, что из темного угла, или из самого проема выскочит некто здоровый, схватит за руки Лену и потянет вглубь, в самую тьму. Она же такая маленькая, хрупкая девочка; она даже не закричит от испуга.

– Ну быстрее же, Аня, – вытянула умоляюще ее имя. – Ну что ты там? Аня, быстрее!

– Да заткнись ты! – рывкнула Воскресенская, вставляя ключ в замок.

Дужка замка расцепилась. Ударив им о железную дверь, Аня мигом сняла замок и плечом оттолкнула дверь, которая распахнулась на крышу этажки. Побежав на выход, Лена чуть не свалила подругу с ног, от чего получила в спину свирепый взгляд и, возможно, пару бранных слов в придачу. Дверь захлопнулась и Аня, накинув замок на внешнюю сторону двери, сцепила дужку с корпусом замка.

– Аня! Аня, ну что нам теперь делать? Мы же теперь заперты здесь! О-ой! – простонала она. – Я ведь знала... Знала! Что нам делать, Аня-я? – замерев на месте и прижав пальцы

обоих рук ко рту, волновалась Лена. Круглые глаза с ужасом и надеждой смотрели в спину Ани. На ее лице, как два маленьких ручейка, блестели слезы.

Вытащив ключ из замка, она не спеша положила его в карман куртки и обернулась к подружке. Не раздвигая губ, Аня сдержанно, дружелюбно улыбалась Лене, как улыбалась всегда, желая ее успокоит. Когда Аня так делала, глаза ее лучились нежностью, в которых тем не менее засела глубокая грусть.

– Дура! – закричала Лена. – Я же чуть в обморок не упала! Теперь мне будет это сниться до конца дней.

– Хоть теперь у тебя будут нормальные сны.

Одной Лене известно, что она из всего этого извлекла. Скорее, она расценила произошедшее как злую шутку подруги, к которым – говорила она себе – надо бы уже давно привыкнуть. На самом же деле Аня понимала, что небольшой испуг может отпугнуть назойливую хандру Лены, а то, право, невыносимо уже смотреть на эту кислую физиономию, постоянно кусающую свою нижнюю губу.

3

Над девочками почерневшее, местами еще темно-серое, сплошное, непроглядное небо. Ни луны, ни тем более звезд – все скрылось от людских глаз, потерялось. Вокруг были сплошные стены, кое-где исписанные надписями, застланными в вечернем сумраке черной пеленой.

Лишь два небольших проема выглядывают наружу. Один смотрел на четырехэтажки, дворы, небольшой парк слева, чуть дальше улица Каменная, справа Лесная, которую пересекает Парковая; отсюда видно край дома Ани на Ветхой. Другой устремлялся прямо в лес, где Аня закопала Норда. Сейчас с этой стороны ничего не видно, а днем можно увидеть почти каждый дом, в том числе ржавую крышу Веры Ивановны.

Пока Лена около первого проема раскладывала листы прихваченных из дома старых газет, Аня стояла в стороне и смотрела в сторону леса, втягивая в легкие едкий дым сигареты. Всегда было грустно смотреть в эту сторону: там две смерти, там безвозвратное увядание, там доказательство беспомощности человека; в той стороне все, что ожидает каждого, что приближается и к Ане. Она замахнулась окурком и бросила как можно дальше. Красный уголек дугой устремился вниз.

Как и Лена, Аня сняла с плеча свою сумку и положив под себя, поджала ноги и обняла колени руками. Бетон все еще сохранял холод покинувшей город зимы. Приятная легкость, которая обняла Аню сегодня у пруда, безвозвратно улетучилась, забыв, что именно тогда сердце Ани было для нее самое желанное; на всем свете самое любимое было для нее сердечко. Предательски испарилась она – эта легкость красоты и любви: покинула Аню, подразнив ее кратким мгновением, оставив после себя приторно-горький привкус во рту.

– Ты забыла что-ли? – присев спросила Аня.

Сказав, что не забыла, Лена поднялась и достала из сумки бутылку портвейна. Аня не вставая, лишь немного приподнявшись, достала из своей – черной, с птицей в уголке – штопор.

– Я так, если только пару глотков, – сказала Лена передавая бутылку. – Не охота сегодня. Говорила она так, будто того требует формальность, ведь Лена никогда много не

выпивала, по большей части потому, что трех-пяти глотков ей было вполне достаточно. У Ани немного не так: она, конечно, любила быть попьянее, чем подруга, но во всяком случае перестала напиваться как раньше. Бутылка полностью не опорожнялась, а плотно закупоривалась пробкой и после хранилась под кроватью.

Некоторое время подруги сидели молча и смотрели кто куда. Лена наблюдала, как кто-то выгуливает в парке собаку, Аня же пристально вглядывалась в неподвижное небо.

– Скоро утки прилетят? Они когда у нас прилетают? – задумавшись спросила Аня. Опьяняющая дымка медленно и приятно застилала глаза.

– Какие утки? – хихикнула Лена положив подбородок на колени.

– Я сегодня была у пруда. Пустой он, и неба в нем нет. Некому в облаках плавать. А когда опустила руку, ничего, кроме воды не почувствовала. – Аня осеклась. – У тебя нет ощущения, будто что-то сломалось?

– Ну, не знаю, – пыталась сообразить Лена. – Может быть и есть... Когда хандра, да, есть такое, – придумала она.

– Я только все не могу понять, где сломалось, – глядя куда-то вдаль говорила Аня. – Может там сломалось? – Подняла голову вверх. – Или здесь? – Снова опустила вниз. – А может быть во мне... Или в тебе. Лен, в тебе что-то сломалось? – посмотрела она на подругу.

– Не знаю, – грустно ответила Лена, – может быть и сломалось что-то. Только я сама не знаю, что.

– Вот и он не знал, а тоже чувствовал, что сломалось. Ты же помнишь? С его рожи ухмылка то не сходила. Я раньше думала, что он смеется, а ведь нет, теперь поняла – он ухмылялся. Неужели думал, что победит ее... Или он *так* ее победил? – Она вопросительно посмотрела на Лену.

– Аня, – подняла она голову поморщив лицо, – я не улавливаю. Ты о Наумове? Кого он победил?

– Судьбу! – загорелись глаза Ани. – Да хоть самого Бога. Как хочешь, понимай.

– Смертью победил Бога? А еще меня душой постоянно называешь, – довольно улыбнулась Лена, вернув подбородок на коленки.

– А сама ты думала о смерти? – помолчав продолжила Аня.

– Когда плохо, думаю. Когда хандра, хочется взять, и покончить с этим. – Она сделала паузу. – Просто иногда жить страшно. Бывает, мне кажется, что я не выдержку всего этого. Но сейчас лучше. Я просто знаю, что надо переждать. Знаешь, это тяжело описать: становишься такой одинокой, никому не нужной...

– Оставленной, – с пониманием добавила Аня.

– Да, точно, оставленной, – закивала Лена.

– Вот и я думаю, – поднимая бутылку сказала она. – Все чаще теперь думаю.

Как подстреленная птица камнем врезается в землю, так и последние слова впечатлительно ударили по Лене. Она медленно набрала в легкие прохладный вечерний воздух и тяжело, будто силясь, выдохнула. В такие редкие минуты откровения с Аней, ей всегда хотелось обнять подругу, а лучше даже вместе поплакать. Это утешает, и Ане – считала она – слезы бы пошли только на пользу. Лена любит поплакать, от этого становится легче; слезы всегда что-то смывают.

И почему все эти откровения с Аней так тяжелы? Такие они все мрачные! Хоть бы раз, вот так вот сидя вдвоем они заговорили бы о чем-то дурацком, пустяковом; хоть бы раз поговорить чисто по-девичьи или полистать глянцевого журнала. Лена соскучилась об этих

разговорах, ведь по большому счету и Аня у нее единственная подруга. Хотя она девчонка общительная, но нет у нее человека, с кем можно посплетничать, подурачиться, посмеяться друг над другом или над собой. Но с Аней все как-то не так – все постоянно сложно.

– Мне сегодня пришла мысль, когда я сидела у пруда, – сказала Аня. – Ведь прежде чем стать чистой, надо испачкаться? Как думаешь?

– Ты серьезно? – хихикнув спросила Лена, но посмотрев на Аню, грустно смотрящую куда-то вдаль, сгладила лицо. – Зачем это пачкаться, чтобы стать чище?

– Ведь если не понять, что грязная, тогда зачем мыть? – шепотом рассуждала Аня, но подруга не расслышала. Лена ухватила руками за сумку и придвинулась к подруге.

– Что ты говоришь? – старалась понять, но в ответ было только молчание задумавшейся Ани.

Сделав глоток, Аня отставила в сторону бутылку и достала из кармана пачку сигарет. Подул ветер – голые ветви на деревьях заскрежетали о принесенных ветром слухов. Кремень зажигалки высекал лишь фонтанчик искр, тщетно призывая огонь. Сомкнув обе руки, через несколько попыток Ане удалось подкурить. Дым пустился вслед за ветром, догоняя его, стараясь смешаться – стать одним с ним целым.

В тишине очередного молчания на голову Ани налетела стая невидимых злых птиц с длинными острыми клювами, вонзающимися в голову и сеющими множество неразрешимых вопросов. Снова, опять, в очередной раз Аня поняла, что запуталась, очень сильно и, возможно, безнадежно запуталась. Жизнь страшна, очень страшна. Она – это давящее, жестокое бремя, задающее множество вопросов на которых не может быть ответа. Это бремя – как немой фокусник, ловко манипулирующий картами, удивляющий ими зрителя и задающий загадки одну за другой. Сотворив фокус, он тут же переходит к другому, потом к третьему и уже не разобрать с чего все начиналось. Можно лишь махнуть рукой и признать свое бессилие. И не спросить фокусника, как он это делает. Может быть он и сам хотел бы поделиться со зрителем своими секретами, но ведь и он не всемогущ – немой, сухой и постоянно оглядывается по сторонам.

Все смешалось, поменялось, перевернулось: одно другое захватило, поглотило; что-то отпало. Много! Почти все отпало!

Жизнь – это грязная доска со множеством разводов, висящая на стене неопределенности, страха и смутной надежды.

– Ты веришь в Бога? – дрожащим голосом от скопившихся слез спросила Аня.

– Не знаю. По-моему это выдумки, – призадумавшись ответила Лена.

Слышным шепотом Аня прочитала:

Из сердца моего вырвали Бога,

Душа теперь не чувствует скорби.

Вырвали не Бога, а забрали мечту.

Не душа скорбит, а нейроны в мозгу.

**Это часть вторая,
где я играюсь с марионеткой, несу всякую пургу
Таньке и избавляюсь от одиночества.
Все лестницы ведут вниз!**

*Выйди, не стой, присядь со мной.
Может быть среди нас двоих,
Не ты один покрылся чернотой.
Посмотри, я тоже? Повернись!
Не молчи. Видишь эти слезы?
А израненные руки? Смотри!
Не отворачивайся! Ну хоть солги!
Ну скажи, что во мне осталось?
Есть хоть капля былой чистоты?*

Из ранних записей Воскресенской Ани

Холодное воскресенье августа

– Ты должен меня удочерить, – выкрикнула Аня и стала ждать, но в ответ лишь оскорбительная тишина. Только ливень, стуча, все продолжал понапрасну хлестать ленивую землю. Знал бы он, что земля слишком похожа на людей, по природе своей глухих, слепых и бесчувственных. Нет им дела, кроме своих мелких забот, раздутых до всеобъемлющих размеров, как нет никакого дела земле – лишь разевать рот и проглатывать в свои недра скошенные временем плоды.

Казалось, вместо того, чтобы помещению наполниться невидимым, но ощутимым волнением; вместо того, чтобы воздух, пропитанный запахом кофе, неудержимо задрожал от оброненных Аней слов; за место этого все только замерло, еще более притихло, насторожилось и прислушалось.

Немного переждав, пока пройдет волнение, Аня, выпрямив спину, немного вытянув шею и расправив скованные плечи, обернулась к стойке. В ее глазах блеснула злоба. Как около двух месяцев назад, когда она только поступила в клинику и раздраженно подбирала подходящее место для каждой своей вещи в тумбочке, так и сейчас – Аня снова почувствовала себя подобием какого-то невидимого сквозняка, незаметно проскользнувшего по полу помещения. Опять ее никто не замечает!

Положив на спинку стула правую руку, Аня возмущенно оборвала затянувшуюся тишину: – Ты слышал, что я сказала? Тебе надо меня удочерить! – с расстановкой проговорила она последнюю фразу.

Из проема показался вялый, апатичный лицом Николай с теми же безразличными на

нем глазами. Подойдя к стойке, он уперся руками в прилавок и скучающе-прохладным тоном спросил:

– Из дома сбежала?

– У меня мама умерла, – проговорила Аня, немного потупив свой злобный взгляд. Но слова, ею произнесенные, звучали как обыкновенная констатация сухого факта, словно не совсем ее касающегося.

Обратно собрав тишину, Николай присмотрелся к Ане.

– Я же вижу, что ты врешь, – не шелохнувшись сказал он.

– Что-о-о? – заревела в негодовании Аня, подскочив с места. – Она позавчера умерла! Я в больнице лежала, когда это случилось! – Отведя руку в сторону, она указывала пальцем в пол, будто на нем лежит какое-то неоспоримое подтверждение ее слов. Взгляд ее не отрывался от Николая. – Ты не имеешь права так говорить про меня. Я еще та тварь – я знаю! Я постоянно вру, но сейчас ты не можешь так говорить про меня. Урод! – не выдержала она, оглянувшись на стол и хотела что-нибудь схватить, чтобы кинуть этим в лицо Соболева.

– Успокойся, – повысил тон Николай. – Вот же нервная, – усмехнулся он.

– Нервная?! – опять вспыхнула Аня, сделав шаг вперед. Из-за общей усталости она плохо владела собой. Воскресенская с трудом сдерживала свои порывы и ей понадобилось не мало усилий, чтобы не начать бросаться в эту безразличную физиономию чем только попало. – У меня вся жизнь на хер полетела, а ты говоришь, что я вру! Вы все такие.., уроды! На словах готовы, а на деле... На деле ты ведь тот же паук! Только и высматриваешь, кого бы сожрать...

– Да успокаивает ты! – негромко ударил кулаком по столу.

Аня замерла на месте, будто очнувшись от какого-то приступа. Лицо ее стало бледным, цветом чистой бумаги, и казалось высеченным из камня. Неподвижный ее взгляд впился в лицо Николая.

– Как тебя зовут то?

– Анька по-моему... теперь, – неуверенно сказа она.

– Хочет кофе, Аня?

– Давай, – как замороженная отвечала, двигая только челюстью и губами.

– Только сядь и успокойся, – сказал он, и добавил: – Аня.

Спустя несколько минут они сидели за столиком Ани друг напротив друга: каждый со своим стаканом. Николай раньше не наблюдал за церемонией с кофе и сахаром, неукоснительно соблюдаемой Аней как священный ритуал; да и не мог, потому как сидит она постоянно спиной к стойке. Ее движения были такие выверенные, тщательные, что Николай не мог оторваться от этого, казалось бы, на первый взгляд, скучного зрелища.

Успокоившись и дав возможность возобладать уставшему рассудку над стихийными характером, Аня, не отрываясь от своей обязательной процедуры над напитком, спокойно начала разьяснять Николаю.

– Если ты не удочеришь, они заберут меня в приют, как для собак и будут держать, пока у них не найдется повод вышвырнуть меня, понимаешь? – С серьезным дипломатичным видом посмотрев на Николая качнула она головой. – Тебе не надо будет содержать меня. Квартира у меня есть. Заработок найдется... Короче, прокормить себя смогу. – Махала она пакетиком над кофе. – Только оформить... Как это называется? – Замерев, призадумалась она. – Короче, удочерение просто оформить и все.

– Мне уже пятнадцать.., будет, – сделав паузу, продолжила она. – Только три года продержаться...

– Но я не могу, – перебил ее Николай.

– Что... Да.., – замялась Аня. – Я же тебе объяснила, – поддалась она вперед, снова теряя терпение. – Ну что непонятного то? Тебе не надо будет меня обеспечивать. Удочерение оформим, чтобы они отвязались от меня и ты отдельно и я отдельно, и пошли все они на хер, мрази конченые! – вскипая подняла она тон.

– Подожди, только не нервничай, – приподнял он ладони вверх, будто защищаясь или остерегаясь любого гневного всплеска Ани. – Я уезжаю отсюда. Продаю по-быстрому свою квартиру и уезжаю. Подожди, подожди, – приподнял руки, останавливая Аню. – Я тебе объясню, чтобы ты поняла, что со мной этот вариант ну никак не получится. Я поеду в монастырь, на самый север. И это решено окончательно. Там я постригусь в монахи и больше никогда не выйду за стены того монастыря, – сказал он, будто сам слабо верил своим словам. Соболева на самом деле одолевала большие сомнения, что и этот шаг может быть последним в его жизни. Как бы не сорваться снова, на другое место; как бы не разочароваться опять.

– Идиот что-ли? – Подавшись назад с искренним удивлением сказала Аня. – Тебе то от кого бежать? Нет, ну ты так и скажи...

– Хватит! – Перебил он. – Для начала оскорблять перестань, – озлился он больше на ее обидное удивление, чем на идиота. – Хамство свое хотя бы на время уйми. – Он опустил голову, как призадумавшись, и тихо, словно сам с собой рассуждая, сказал: – И какой из меня родитель.., – но сразу поднял глаза на хмурую Аню. – Родственники! У тебя же кто-то остался?

– Нет никого, – рывкнула Аня выпячивая губы и морща нос. – Одна в банке осталась – наедине с вами, членистоногими! Как же вы меня...

– Где осталась?

Аня не ответила, а гневно, с отвращением смотрела на Николая, будто это именно он, и никто иной, испортил ей всю жизнь.

– Ты не удочеришь, – без вопросительной интонации сказала Аня. Она знала ответ, но хотела удостовериться.

– Нет. Извини, если нарушил твои планы, – безразлично сказал он, смотря в окно и поднося кофе ко рту.

– Все вы.., – стала Аня нервно стучать длинным ухоженным ногтем указательного пальца правой руки по столу. Ее глаза сузились, а нос все также морщился от отвращения к собеседнику. – Все вы только и бежите отсюда. Кто сожрать не может, бежит как вонючий таракан с помойки. Все вы одинаковы, уроды, только уходите по разному. Трусы поганые, вот вы кто. Мрази! – взвизгнув заключила она.

Не опуская на стол стакан кофе, Николай молча, со спокойным видом выслушал Аню. Когда она, взвизгнув, обрушила на его голову последнее слово и замолчала, отвернувшись к окну, он спросил:

– Ты закончила говорить?

– Закончила! – крикнула она ему в лицо, словно плюнув.

– Тогда я пошел, – сказал он и поднявшись со стаканом ушел в подсобку.

Явившись посреди третьего урока в школу, Воскресенская, миновав турникет стала как в ступор. Сверху, с потолка холла на нее устремился неподвижный черный зрачок на стеклянной роговице которого блекло отражалась сама Аня с непомерно большой головой и будто бы раздутой, свесившейся на плечи шевелюрой, маленькими – треугольником – ножками, сузившимися в высоких ботинках с заправленными в них джинсов.

Камеры поставили в пятницу, но Аня этого не знала, потому как ушла, не просидев и двух уроков. Было понятно, что это все следствие скандала с никому ненужными школьными тетрадами, о которых забыть принципиальная в характере Ирина Васильевна никак не могла.

Словно силясь переглядеть округлый нависший глаз, Аня стояла неподвижно, как дикая кошка, которую застали врасплох – пригнет спину и опустит скалясь голову с прижатыми острыми ушами и смотрит на недруга исподлобья, приготовившись отстоять свое право на территорию. Ни один мускул не дернулся на лице Ани, даже не сработала привычка свесить на глаза брови; ни единый ее пальчик на руке не шелхнулся, а глаза ни разу не подались в сторону. Она стояла не моргая, словно принимая какой-то брошенный лично ей неравный вызов.

Как высматривая, запоминая каждые черты лица непримиримого своего врага, Аня так и стояла замерев, вглядываясь в неподвижный зрачок камеры. Она не могла знать, куда выводится изображение с этого искусственного глаза, но верно предположила, что прямоком на монитор Ирины Васильевны. Невозможно забыть, по чьей милости каждые две недели к ней домой ходит эта противная тетка из опеки. Всем своим невозмутимым, но хладнокровных взглядом она утверждала уверенность в своих силах, в неоспоримой достижимости своих целей – что расплата за ее обиды и унижения, неминуемо, как следствие незримого закона, обязательно настанет. Аня еще не знает когда, не знает как, но уверена окончательно и бесповоротно, что то неминуемо.

Возможно, Аня была бы довольна собой, увидев выражение лица Ирины Васильевны, которое как обмякло от странного зрелища стоящей напротив камеры посреди пустующего холла девочки с задранной вверх головой. Более чем с пять полных минут директор со смешанными чувствами, с интересом и крайним смущением наблюдала за этой странной Воскресенской. Та словно научилась смотреть через камеры, сквозь стены и даже через строгие очки Ирины Васильевны, проникая за глаза и высматривая ее обнаженную душу в мельчайших деталях.

Директор, не отводя глаз с монитора, откидывалась на спинку кресла, потом приподнималась, и чуть ли не задевая носом монитор, разгадывала черно-белое застывшее лицо Ани; потом снова откидывалась назад и задумчиво подперев подбородок рукой ждала, когда Воскресенской самой надоест стоять так без толку. Наконец, Ирина Васильевна, не выдержав и воскликнув: «Господи! Да что же с ней такое!», – сорвалась с места к выходу школы. Но она уже не застала Аню. Пока директор стремительно шла по коридору, в это же самое время и терпение охранника дало трещину.

– Что, камеры не видела? Так и будешь целый день пялиться?

– Уроды, – не оборачиваясь сказала Аня и пошла на второй этаж.

На втором уроке – который Аня пропустила – по партам пошла записка: своего рода школьная петиция, или скорее предварительный опрос, призванный собрать подписи и тем самым оправдать готовящееся обращение к школьной администрации в лице директора. Неизвестно, от кого исходила инициатива, а скорее всего к этому подвела не одна голова, но в записке недвусмысленно предлагалось переложить всю вину за пропажу тетрадей на Воскресенскую. Впоследствии необходимо было составить краткое, коллективное, а выходит – анонимное письмо и выбрать поверенного, который передаст его Ирине Васильевне. В желаемом исходе опроса, в целях которого он был начат, и не стоило сомневаться, потому как меры дисциплинарной ответственности уже были объявлены, и несли они коллективный характер для всех девятых классов, что вызвало бурю подросткового возмущения. Жирным крестом перечеркивалось все «лучше», что могла предложить школа в удовлетворении юного порыва: теперь исключались все мероприятия и походы – уже запланированные и еще нет. Но самое страшное прозвучало в конце: ни один ученик ни одного девятого класса не попадет на школьную дискотеку, проводимую в конце учебного года. Конечно, скорее всего это был блеф, но а если... Это то и настораживало.

Петиция оправдывалась просто и ясно: Воскресенской всего этого не нужно – она сама избегает всех возможных мероприятий и даже под угрозой наказания никогда на них не являлась, а потому, что с ней станется? Да и ей то бояться наказания? Одного больше, одного меньше – нет разницы! Безусловно, за этим «безобидным» оправданием скрывался не малый слой накопившейся к Ане неприязни некоторых сверстников, но на счет личных мотивов – естественно – никто не зарекался. Надо сказать, что как нелюбима была Воскресенская в своем же классе, вышло не все так однозначно, как, вероятно, предполагали инициаторы готовящейся петиции. Не все подписали пущенную по партам записку – нашлись и те, кто увидел в этом явную несправедливость, но, к сожалению, большинство выразилось «за». Да если бы и не было этого большинства, а скажем, собралось человек пять-семь, то и этого вполне достаточно, чтобы Ирина Васильевна прислушалась и, возможно, объявила об отмене своего решения.

По каким-то причинам «А» класс не принимал в этом участие – он всегда держался как-то в стороне от остальных. Зато «В» собрал больше всех подписей, то есть больше, чем родной Ани «Б» класс. Не удивительно, ведь если для учеников «Б» класса Аня, не смотря ни на что, все же воспринималась как своя, какая бы она не была, то для «В» нет существенной разницы кого «сливать» из параллельного.

Никогда, сколько помнит себя Лена, она не спорила так эмоционально и не возражала столь категорично, когда на перемене увидела перед собой записку, специально подготовленную для «В» класса. И представить она не могла, что способна так яростно выражать свое несогласие, чуть ли трясясь от негодования учиняемой несправедливости по отношению к ее проблемной подруге. Хотя Лену никто не слушал, но вплоть до начала урока она завела монолог, к которому, казалось, по своему характеру совершенно не способна. Своим тихим голосом она успела рассказать, что в высшей степени отличает человека от животного, в чем заключается общность, коллектив и на сколько бесценны согласие и дружба в нем. Но только начав говорить, на сколько прекрасна справедливость и что нет ничего более подлого, чем несправедливость, Лене пришлось остановиться при виде зашедшего в кабинет учителя.

Вновь ей представилась горькая возможность ощутить свою слабость и бессилие, а ведь как было бы хорошо, замечательно, если бы у нее получилось отговорить одноклассников от этой затеи. Казалось ей, будь она немного упрямее как Аня, не мямлила бы так, спотыкаясь через два слова, то точно бы одноклассники сами отдали эту злосчастную петицию, и она, гордая за себя, победоносно понесла бы разорванную на части записку в мусорное ведро. Случись так, Лена могла бы почувствовать, что в некотором роде оплатила долг перед Аней.

До того увлекшись своим монологом, что она, сильно возбужденная своей же речью, в течении урока вновь и вновь прокручивала его в голове, от чего забыла предупредить Аню, какая в отношении нее творится несправедливость.

Появившись в кабинете на четвертом уроке, Аня ничего не могла заметить, так как интрига уже исчерпала себя и вопрос окончательно решен. Даже размашисто подписавшийся Федоров, по лицу которого в подробностях можно было узнать о всех значимых событиях дня, ничем не выдавал себя, потому как уж очень на этот раз старался быть сдержанным. Подписываясь, он считал, что тем самым поступает правильно – становится на защиту класса, находится на стороне большинства, которому его авторитетная подпись просто необходима.

Был урок алгебры, а в начале него проверочная работа, которая свалилась на головы учеников неожиданным тяжелым грузом. Федоров как всегда помог Ане, не успев для нее решить только последнее уравнение. Для Ани проверочная пришлась кстати, и дело совсем не касается учебы, как не посмотри. Это ее совсем не волнует. Необходим был повод чтобы начать разговор с Федоровым с уже подобранной, ранее задуманной фразой.

Преподаватель, собрав листы проверочной работы, объявила новую тему урока. По своему обыкновению она вызывала к доске одного из учеников, считая такой подход более наглядным. Подняв с места раздосадованного Фролова, Аня, не церемонясь, обратилась к соседу.

– Ты так что-ли подкатываешь ко мне?

Вздрогнув плечами, Федоров рефлексивно закашлял в кулак и обернувшись к склонившейся над партой Аней, свесившиеся волосы которой закрывали ее невозмутимое лицо, сказал, глупо улыбаясь:

– Нет! – словно сам вопрос очень его возмутил. – Хм, – после самодовольно усмехнулся. – Это потому что я тебе помогаю?

– А почему тогда помогаешь? – выпрямила она спину, посмотрев ему в глаза. Огненные волосы ее легли на плечи и грудь.

Он дернул плечами.

– Просто, – сказал он. – Просто помогаю. Что тут такого?

– Ага, ты просто помогаешь, а я просто ничего не понимающая идиотка. Ну да! – подводила Аня с безразлично-скучающим видом.

Федоров ничего не ответил. Его внимание сузились до размеров доски. Он силился сомкнуть грани цепи пропущенного звенья в теме урока, которое вырвала у него Аня.

– То есть, если я скажу, – повернулась она к нему, – что дала бы тебе, ты бы отказался?

Не пошевелившись, Иван продолжал смотреть на доску, но теперь его внимание приковывало не утерянное звено темы, а нещадно брошенные Аней слова, к которым едва ли можно быть готовым. Аня заметила, как к лицу Федорова от смущения подступила кровь, что заставило ее чуть заметно ухмыльнуться.

– Или ты из этих? – пренебрежительно добавила она.

– Нет! – дернулся он. – Ты просто...

– Убогая, нищая? Вы ведь так говорите? – перебила его Аня, сверкнув обжигающими зелеными искрами из своих глаз.

– Они так говорят, не я, – соврал он и откинувшись назад сложил руки на груди. Он был рад, что ему не пришлось отвечать на сложный для него вопрос.

«Ага, ты не говорил. Как же!» – сжав зубы, припомнила Аня. Вытащив тетрадь из под учебника, она постаралась сочинить очередной стишок, но мысли как застряли в какой-то непролазной яме, а строки отказывались рифмоваться. Все мешало! Федоров мешал, Ершова и Зорина мешали, Котова мешала; этот отвратительный душный класс, эта тесная школа, город мешает, все мешает! «Убогая... Да какое вам на хер дело...», – раздувая, злилась Аня. «Постоянно что-то шепчут за спиной, смеются», – продолжала она. «Все они лицемеры, как и Васильевна. У всех них только приличия и остались!»

– Федоров, – словно кость бросила она; голос ее был резкий, скрежетал как ножом по металлу. – Так и быть – раздвину. Хочется же! По тебе видно, – продолжала склонив голову над тетрадей, делала вид, что говорит как-бы между делом. – Можешь не мяться тут. Я же сама предлагаю. – Она подняла голову и пристально посмотрела в отдающие испугом глаза Ивана. – Только у меня условия.

Совсем растерявшись прямолинейной откровенности Воскресенской, будто вываливающей все имеющееся у нее на стол и, надо сказать, удивившей его пронизательностью, Федоров побоялся давать хоть какой-то ответ бесцеремонной Ане, да и не знал, что и каким образом отвечать. Сдерживая мускулы лица, чтобы не дай бог как-то показать свое волнение, он продолжал делать вид, что вникает в тему урока, но вновь и вновь прокручивал у себя в голове все сказанное Аней: каждое словосочетание с ее интонацией, какой она запомнилась Ивану. Душевное равновесие его поколебалось, пошатнулось – так легко и просто. Федорову будто открылось что-то новое, волнительное, словно в одночасье он подрос и теперь может прикоснуться к чему-то ранее недосягаемому, запретному, но очень желанному.

По Ветхой, среди прочих четырехэтажных панельных домов этой улицы, стоит дом номер четыре, во втором подъезде которого на третьем этаже живут Воскресенские: мать с дочерью. Квартира Воскресенских – это маленькая однушка с совмещенным санузлом и крохотной кухней. Состояние квартиры жалкое: серые, кое-где почерневшие потолки, грязные, местами покрытые пятнами в скучный рисунок обои, отклеивающиеся в швах. Деревянные, создающие сквозняк летом и зимой кривые стеклом окна. Скрипучий, старый как дом паркет, покрытый коричневым рваным линолеумом. Мебель с отломанными ручками, потертые в ножках стулья, провалившийся раскладной диван и кресло, на которое уже лучше не садиться. На этом фоне телевизор в комнате и стиральная машина на кухне смотрятся как нечто из ряда вон выходящее: отличное, выделяющееся от всего остального. Старый холодильник в жару настолько взрывается своим издыхающим, расшатанным мотором, что не редко будил Аню среди душевой ночи, напрочь перебив ее поверхностный сон.

При всем этом неприглядном, обезнадеживающем виде квартиры, помещения содержались в чистоте. Полы протирались Воскресенской Дарьей Николаевной с занудным постоянством: всегда в выходной день недели, и не редко в будние после работы. То, что можно назвать мебелью, никогда не примеряло на себе заметный слой пыли, интенсивно удаляемый.

В комнате Аня отвела себе отдельный угол у своєю кровати, натянув веревку между стенами и повесив на нее старую дрянную простыню, достав ее – забытую – из самых низов шкафа. Своих полных квадратных метров в личном распоряжении Ани вышло около трех или чуть больше. У нее были тумбочка, где лежали ручки, карандаши, исписанные стихами тетрадки, поломанные наушники, какие-то брелоки, зажигалки, спички и сигареты, три книги, две из которых без обложки. Под кроватью было всякое, о чем и говорить не стоит; это был своего рода ее склад нужных до поры до времени вещей. На стуле, что у подножья кровати, всегда аккуратно сложены вещи.

От матери Аня приобрела замечательное качество любви к чистоте и порядку. Эта черта ее характера была не столь назойлива и ревнива, как у Дарьи Николаевны, но оттого проявлялась в гораздо лучшем виде, потому как проистекала она с чувством умеренности и выражалась в искренних порывах.

На первый вид бардак под кроватью и в тумбочке на самом деле имели свой заведенный порядок, сложно организуемый при скудости пространства и места: ручки обязательно слева и в выдвижном ящике; зажигалки ниже, справа от брелоков, а книги неизменно вверху за тетрадями с записями Ани. Кровать всегда аккуратно заправлена, а вещи на стуле – чтобы не мялись – умело ею складывались. Гладить Аня терпеть не могла.

Приходя домой, Аня всегда заваривала себе сладкий черный чай, часто запивая им ломтик черного хлеба, если тот был еще свежий и вкусный, но всегда прихватывая с собой на кровать – куда уходила с чашкой – горсть конфет: сколько смогут ухватит ее короткие пальчики. Сладости в этом доме уходили быстрее всего остального. Дарья Николаевна не всегда успевала уследить, когда они заканчивались, и порой ей приходилось заходить в магазин только чтобы пополнить домашние запасы конфетами – ведь как же Аня останется без них. Мусорное ведро Воскресенских только и пестрило помятыми разноцветными фантиками.

Нужно было дожидаться вечера, а до него чем-то занят себя, но Аня редко мучилась такого рода вопросами. Найти для себя занятие ей не представляло труда; никогда это не составляло проблему. Аня всегда была чем-то занята, даже если со стороны смотрелось обратное. Мечтать или созерцать для нее было занятием не менее важным и полезным, чем изливать свои глубинные чувства в рифмованных строках на тетради с листами в клеточку.

Еще не перешагнув порог дома, Аня знала, что как только уляжется на кровать со своим приторно-сладким чаем и горстью конфет, высыпанных под боком на кровати, она достанет из серебристого цвета рюкзака несколько тетрадей, вынесенных ею во вторник из учительской. Работы эти ее совсем не интересовали и читать некоторые из них будет без особого интереса. Что может быть увлекательного в несуразной писанине «этих членистоногих лицемеров, большинство из которых к тому же уроды особой породы»? И домой принесла эти тетради зря – потом уже сообразила она. Надо было сразу выкинуть их в мусорных бак за домом, но почему-то тогда не подумала – размечталась наверное. Но раз так; раз все это добро теперь в ее полном распоряжении, то можно и кого-то выборочно почитать.

Не безынтересно, как просто Аня выкрала тетради. Посреди дня, во время урока, когда

коридоры почти безлюдны, она зашла в школу, заранее напялив пустой рюкзак на плечи, и преспокойно пошла в учительскую. Открыв дверь не стучась, она обнаружила, что кабинет пустой и, как видно, не запирается, о чем Аня конечно же знала заранее. Без спешки и суеты Воскресенская прошла себе спокойно в учительскую и стала высматривать содержимое шкафов – откроет один, внимательно посмотрит, удостовериться, что здесь ничего нет из ей нужного, закроет и полезет смотреть следующий. Обнаружив три стопки тетрадей, Аня аккуратно сложила их в рюкзак, и также, преспокойно вышла в коридор, а потом из школы через двор, где постояла, задумчиво покурила и кошкой полезла на забор, чем очень удивила какую-то «малолетку» из класса пятого или шестого, которая и курила не в затяг, что очень раздражало Аню.

В ночь на вторник Аня часами лежала без сна, беспокоимая тревожными мыслями, переминаясь с бока на бок, опрокидываясь на спину и тяжело вздыхая в потолок. Как же она ругала себя и все вокруг, которое почему-то тоже оказалось виновато в ее оплошности! В одну ночь Аня прокляла весь мир, послала к черту все звезды, особенно солнце; пожелала земле вплоть до самых глубоких недр захлебнуться во всех «нечистотах и сквернах» человеческих, а самим паукам, то есть людям, пожелала веки вечные жрать друг друга и оставаться постоянно голодными.

И что побудило ее тем вечером излить в заданной работе свою душу; поделиться некоторыми своими сокровенными мыслями? В легком, одурманивающем порыве она даже переписала в тетрадь парочку своих стихов, которые никто никогда не должен был прочитать! От этого становилось совсем жутко: до того, что при воспоминании на лице Ани появлялась холодная испарина, а глаза как в нестерпимом отчаянии округлялись в две копейки.

Только придумав, как она может исправить свою ошибку, Аня смогла несколько часов поспать. В противном случае пришлось бы ворочаться до самого рассвета.

Положив очередную конфету на язык, Аня открыла тетрадь единственного человека в школе, которого никогда не могла назвать ни пауком, ни тем более уродом во всех возможных смыслах, бескрайнее множество которых Аня придавала этим словам.

Тетрадь по предмету: обществознание, ученицы 9 «В» класса, Светловой Е. Ю.

«Мой вклад в лучшую жизнь»

Часто мне говорят, что я наивна. Возможно, так оно и есть. Но я честно, не знаю, что можно здесь написать в четыре тетрадные страницы. То, как я думаю, можно выразить единственным предложением, или лучше одной легендой, которую я когда-то слышала. Но раз нужно уложиться в определенный объем, тогда я начну рассуждать прямо здесь, в этой работе, а в конце завершу ее той мыслью, о которой сказала. Может быть, я и легенду напишу, если хватит времени. Она все же не маленькая, зато очень красивая легенда. Мне нравится, как она получилась.

Так вот, начну рассуждать, как сама думаю. Многие говорят, что надо думать только о своем будущем. Я согласна с этим, но не совсем. Мне кажется, здесь только половина правды. Я боюсь того мира, где каждый думает только о себе. Ведь тогда мы все сразу же станем одинокими. Будем ходить в школу, в кинотеатры, потом в институт и на работу, и будем общаться между собой, но при этом каждый будет одиноким, потому что думает только о себе. С кем не поделись своими мыслями, впечатлениями, своим настроением, ты, в таком случае, будешь как какой-то фон; как телевизор, который мама включает на кухне,

когда готовит ужин. Я бы не хотела жить в таком мире, где бы не могла поделиться тем, что меня волнует и радует; где бы не нашелся человек, который выслушает меня и постарается понять. Я сама с большой радостью выслушиваю других и даю советы, если меня попросят. Только настроение иногда подводит, а так, я всегда готова.

Выходит – человек должен думать не только о себе, но и о других, хотя-бы близких и друзьях. Может быть я не права, но бывают случаи, что иногда лучше больше подумать о ближнем, чем о себе. Вот у меня иногда совсем плохое настроение и мне бы очень хотелось, чтобы рядом был человек, который бы меня поддержал; и я готова, уверена, готова отплатить ему тем же, когда потребуется мое внимание. Честно, я брошу все и прибегу к этому человеку!

И еще. Мы всегда думаем о том, что будет в будущем, то есть всегда о том, что еще не настало. Сегодня думаем о завтра, а завтра, какими станем через год, а вот настанет этот год, и мы думаем о следующем, и так постоянно. Здесь, по-моему, тоже половина правды, как и о заботе о себе. Я на своем опыте знаю, что жить настоящим намного приятнее: когда хорошее настроение, конечно. Тут даже больше, чем приятнее. Не знаю, как у других, но я становлюсь живее; я ощущаю себя такая, какая есть и мне это нравится.

Вот, получается, к чему я пришла: жить не только для себя, но и для других, а иногда больше для других, чем для себя; и жить не только будущим, но и настоящим, и настоящим иногда больше чем будущим.

Вот у меня есть подруга. Она – хороший человек, только она очень несчастна, как и я, когда у меня плохое настроение; только у нее это настроение, кажется, постоянно. Я стараюсь понять причину ее несчастья, но у меня пока не получается, а ведь мне так хочется сделать ее хоть немного счастливее. Иначе с ней невозможно! Каждая минута общения с Анькой становится испытанием. Но не в этом только дело: она же сама страдает, а из-за чего? Вот я и дала себе слово, что приложу все силы, а помогу ей. Все же она моя подруга и я не могу все это вот так вот просто оставить. Я пока не знаю, как сделаю ее счастливее, но я уверена, что смогу. Просто, когда около несчастный человек, то и сам будто бы становишься несчастнее. Вот я и подобралась к моей основной мысли: если сделать одного человека счастливее, то весь мир на чуточку становится лучше. Наивно – согласна. Но я уверена на все сто, что это правда!

Вышло то уже больше четырех страниц, а ведь волновалась, что и одной не будет. Я даже легенду свою напишу! Меня все это так воодушевило, что я чувствую в себе огромное желание все мои выводы предварить в свою жизнь – сделать много хорошего и полезного. Сделать счастливее всех-всех, кто меня окружает!

Спасибо, Татьяна Петровна! Таких заданий давайте нам по-чаще.

Но а теперь легенда...

Не дочитав, Аня с размахом швырнула тетрадь о стену, и та, расправив и шелестя в воздухе страницами, упала на кровать к ногам. Перевернувшись со спины на живот, она уткнулась лицом в подушку и застонала, словно раненый, от боли расщипавший зверь. Горло сжалось, словно в судороге, а к глазам подступили слезы, которые Аня из всех сил старались сдерживать.

Что-то непонятное, неуклюжее зашевелилось внутри, упераясь в стенки и причиняя боль – расшатывая привычные грани. Хотелось отдалиться слезам, излить хотя-бы в подушку какую-то странную, горячую, а не холодную – как это всегда и было – боль. Но казалось Ане, что в этих слезах, в факте самой боли есть что-то постыдное, нечто такое, что и в

одиночестве нельзя обнаружить. Ревом и стоном она сдерживала слезы и заглушала боль; с силой сжала покрасневшие от напряжения веки глаз.

Аня тихо всхлипнула – через минуту громче. Сердечко ее билось все больнее, сжатое в пламенных тисках. К горлу подступала горечь, а во рту разлился соленый привкус смываемый с души коррозии. Аня громко всхлипнула и не в силах больше сдерживать себя, отпустила горячие свои слезы, и они, впитываясь, потекли в сухую подушку, делясь с ней секретами, о которых не должен знать никто во всем мире. Это слова одиночества и мечты, холода и любви, страха и надежды; слова маленького, но горячего сердечка Ани.

Отца своего Аня никогда не видела. Она им и не интересовалась; не желала знать, кто он такой, кем был или кто есть, если жив. К нему – этому незнакомому, чужому человеку, она чувствовала абсолютное безразличие. К сожалению, Аня убедила себя, что ребенок она нежеланный, а зачата была даже не случайно, а вопреки.

Мать клялась и умоляла Аню с содрогающимся голосом поверить, что она неправильно все поняла – надумала себе ужасные вещи. Да – говорила она, – отец и вправду бросил их почти сразу после рождения Ани; уехал куда-то далеко на восток страны: точно неизвестно. Но Аня была зачата – говорила мать – в любви и согласии. Так и повторяла: «в любви и согласии». Утверждала, что если бы знала наперед, что так оно выйдет и муж ее все равно бросит, то ни за что бы не отступала назад, потому что – поясняла мама – родилась она – «чудесная моя Анечка». Но Аня ничего не хотела слышать и не смотря на все мольбы матери, категорически не желала поверить в какие-то непонятные согласие и любовь, «как и бог – вымышленных для тупых уродов». В итоге, она себя окончательно убедила, что мир, в котором родилась Аня, вовсе не ее мир – здесь нет и никогда не было приготовлено ей места. Появилась она даже не по ошибке, а как бы в насмешку. О, это особенно было ей больно ощущать! Этим она и злила саму себя, намеренно раздражая и укоряла за один только факт, что живет, что она существует. Ничто не сравнится с болью от сознания этой злой насмешки Судьбы, разве что мысль о своей ненужности или оставленности. Но если в последнем случае можно ощущать только страдание, в насмешке же есть нечто страдальчески-злое.

Более того, зачем-то убедив себя, что рождена была вне брачного закона, вопреки здоровым, тесным отношениями между мужчиной и женщиной, она словно ставила и саму себя, всю свою природу, до мельчайшей клеточки, вне закона как такового. Подобно тому, как Аня считает, что земля сама по себе чиста и невинна, и только человек виноват, что извратил, осквернил ее – так же и она, Аня – есть людская грязь, само воплощение скверны, которая по существу не имеет право на жизнь: на хорошую, счастливую, чистую, вне скверны жизнь. На это она не имеет никакого права, да и вообще – к большому сожалению, считала она – совсем не способна. Хотя Аня и родилась в насмешку и вопреки в «прогнившей банке», а добрую жизнь вести не в состоянии – не по природе, но на скверную то, извращенную – говорила она себе – еще как способна. И не только те, кому надо будет пожалеть, сокрушатся о ее появлении на свет, но и сама Судьба, так зло взирающая на Аню, постоянно ухмыляющаяся, не менее всех их пожалеет о своем решении породить нелепицу под именем Воскресенская Аня.

Так и заснула она на своей влажной подушке, сначала задремав и тем успокоившись, пока совсем не провалилась в сон без сновидений – самый лучший и целительный. Спала она неподвижно, среди разбросанных по кровати разноцветных мятых фантиков от

съеденных конфет, до самых пор, пока не разбудил ее стук входной двери. Сегодня Дарья Николаевна пришла немного раньше обыкновенного – ближе к шести часам.

Сонная, с залипающими глазами, Аня слушала, как мать по привычке, подобно старухе, ежеминутно вздыхает: поставит на пол пакет – вздохнет, повесит куртку – еще громче, протяжнее; и так будет вздыхать еще с час и более – готовя ужин, протирая полы, пока не усядется напротив телевизора или не ляжет спать. Вопреки своему непокорному раздражительному характеру, который будто вовсе лишен всякого чувства смирения, в этом случае Аня отступила, признав бессильным весь свой арсенал, состоящий из язвительных укоров, игнорирования, того или иного способа бойкота, неповиновения и множества других манипуляций, ею используемых.

Дарья Николаевна долго переодевалась, медленно двигаясь и тяжело от усталости дыша. Пройдя в комнату, она, не зажигая свет, легла на диван и наконец закрыла глаза. Этой минуты она ждала долго, с самого обеда, хотя казалось, что день прошел за два. Ноги уже еле держали ее стройное, но плотное тело. По Дарье Николаевне сразу было видно, что женщина долгие годы зарабатывает на хлеб физическим трудом, при чем на износ. Выглядела она старше своих сорока лет: лицо покрылось морщинами, и если бы не худые в кистях руки, можно было бы сказать, что скорее они принадлежат мужчине, нежели женщине. Она давно перестала ухаживать за собой: ни кремов, ни косметики, за исключением дешевого тюбика для кожи рук. Муж ее бросил, когда Ане было с пол годика и с тех пор она все меньше следила за собой, переключив внимание на крохотную дочку и низкооплачиваемую работу, которую только и могла получить женщина с неполным средним образованием.

Этим днем, около обеда, у Дарьи Николаевны сильно, до тошноты закружилась голова. Пришлось среди рабочего дня закрыться в подсобке, где хранится инвентарь уборщицы и с пол часа посидеть в темноте, дожидаясь, пока не пройдет головокружение. Она боялась, что ее могут увидеть без дела, совершенно не надеясь на чье-либо понимание. Немного спустя головокружение ослабло, но полностью не оставило, а дополнилось общей слабостью тела, в особенности ног. Несмотря на страх перед начальством, ей все же приходилось время от времени где-нибудь садиться или облокачиваться о стену, чтобы хоть маленько отдохнуть. К несчастью, сегодня же надо было идти на вторую работу, где точно также пришлось взять в руки швабру с наполненным ведром.

– Анюта, ты здесь? – устало спросила прикованная к дивану мама. Она знала, что дочь дома: в прихожей стоят эти грубые, совсем не для девочек ботинки, а на вешалке висит ее куртка. Дарья Николаевна ни как не могла привыкнуть к этой сооруженной Аней «ширме» – посреди комнаты рваной простыни, отягчающей и без того невзрачный вид квартиры. – Приготовь нам ужин, пожалуйста. Я сегодня не в состоянии. Приболела немного.

– Я не голодна, – резким, нервным тоном раздался голос Ани. Она была раздражена так нещадно оборванным сном, хлопком входной двери. Очень спать хотелось, но и вставать надо – уже вечер.

– Небось только конфеты и ела, – сказала Дарья Николаевна не открывая глаза и со сложенными на груди руками. – Я там еще прикупила, но твоих любимых не было. – Аня ничего не ответила. Воздух снова замер.

– Анечка, пакет я оставила в коридоре, – через минуту сказала мать. – Приготовь нам, пожалуйста. Я сама сегодня не обедала. Грипп что-ли...

Демонстрируя свое недовольство, Аня шумно, через ноздри выдохнула, и бросая по очереди ноги на пол, сползла с кровати. Резким движением руки она отдернула простыню, и

голодная, раздраженная, шаркая тапочками пошла в коридор, словно принужденная выполнять чужую работу.

– Пакет у двери, – повторила мама. – Не дай Бог заболела, тогда вообще без денег останемся. У нас там осталось что-нибудь от гриппа, не знаешь, доча?

Шуршание пакета, который понесла на кухню Аня, оборвалось стуком об пол. Она выскочила обратно в комнату. Дыхание ее стало чаще и глубже, в глазах блеснула злоба. Аня взглядом впилась в маму, продолжавшую неподвижно лежать с закрытыми глазами и сложив руки на груди.

– Не останемся, мамочка. Если что, я уже завтра на панель могу пойти, – язвительно сказала дочка.

– Что же ты такое говоришь! – вздрогнула мама, поднимаясь с дивана. – Анюта, что ты говоришь! – Дарью Николаевну затрясло, а по коже пробежал мороз; никогда еще дочь так не разговаривала.

– А что? – будто удивилась. – Ничего сложного! Только раздвигай ножки, мамочка!

– Прекрати! – ударила она ослабевшей рукой по дивану

– Или ты думаешь, что и на панели меня никто не возьмет? – не прекращала Аня.

– Замолчи! – повторяла мама, не сколько гневаясь, сколько лично оскорбляясь словами дочери. Дарья Николаевна хотела встать с дивана, но ноги подкосились и она сползла с него, не сильно ударившись об пол. Аня презрительно окинула мать взглядом и пошла обратно в коридор. Подбирая пакет и неся его на кухню, она все сильнее травила чувства матери.

– И денег у нас больше будет. Раза в три, наверное, чем ты приносишь. А если еще и ты со мной пойдешь... Как думаешь? Мне кажется и на тебя любители найдутся.

Мать, сжала челюсти, чтобы только не закричать. Ей вдруг просто захотелось закричать, как кричать от бессилия. Зажмурив глаза и ухватив голову обеими руками, она повалилась боком на пол. Дарья Николаевна и представить не могла, как ядовиты могут быть слова дочери; как метко она всегда целится, если хочет задеть мать. Но не это самое страшное. Матери тяжелого было понять: бросается ли дочь словами только ради того, чтобы побольнее ее уколоть, или же говорит серьезно. Вспоминая взгляд Ани, ее лицо, казалось, что говорит она решительно и хоть завтра... Нет! Даже и подумать об этом страшно.

Из кухни доносились удары посуды: с грохотом упала на плиту кастрюля, столовые приборы непрерывно звенели. Аня не била посуду, но швыряла на стол, в раковину, с шумом ставила на плиту налитый водой чайник, резко отодвигала ящики и открывала дверцы шкафчиков, чтобы потом с силой их закрыть.

Спустя время, Дарья Николаевна, осторожно, чтобы не повалиться и не упасть, села за стол, на котором стояла тарелка с едой. Аня находилась у плиты.

– Садись доча, не стой, – тихим, нежным голосом сказала мама. Но Аня взяла свою тарелку с вилкой и размашистыми шагами ушла к себе, на кровать, за «ширму».

– Все будет хорошо, доча, – сказала мама уходящей Ане. – Все будет хорошо, – успокаивала она себя.

Как обычно, Аня, не замечая ничью другую боль, а жалея только себя и за себя одну переживая, думая только о себе и своих выдуманных проблемах, собиралась с шумом и

грохотом. К этому времени Дарья Николаевна уже вернулась к дивану и рухнула на него как без чувств. Дочь и не помыслила ходить из комнаты в коридор и обратно хоть немного тише. Оденет куртку, зашнурует свои тяжелые ботинки, а потом с грохотом в них побежит обратно за забытой сумкой с изображением птицы на уголке передней стенки. Выдвинет ящик тумбочки и начнет шумно копать в своих вещах. Ищет, перебирает; не находит нужное – громко ругается. Она никак не могла найти свой серебристого цвета складной автоматический ножик с фронтальным выбросом лезвия. Оказался он в другом месте, где не должен был лежать, что навело на Аню мнительные подозрения. Щелкнув кнопкой, она с удовольствием оглядела его – острый, сантиметров в пятнадцать длиной с двойной заточкой клинок. Как и ботинками, она была очень довольна этим удачным приобретением – самым лучшим за всю жизнь.

Уходя, Аня хлопнула дверью. Стены квартиры затряслись и застонали, но Дарья Николаевна ничего не расслышала сквозь глубокий сон.

Ночь находила на город все еще рано, а улицы его опустошались еще скорее. Для кого светили всю ночь, с самого вечера эти безобразные металлические столбы, она ни как не могла понять. По Ане, так с ними как-то более жутковато, особенно когда идешь одна по длинной улице, а вокруг никого – только она, словно призрак, выходит из тени на свет, чтобы снова скрыться в сумраке. Порой, возникает ощущение, что кто-то следит за ней, пока она одна, спешит, быстро семенит ножками по тротуару. Становится не по себе – просыпается неуверенность, а брови наползают на глаза. Аня вообще боится темноты, но страшнее всего, когда приходится переходить из тени на свет и обратно. Тогда она совсем теряется, особенно с этой навязчивой мыслью, что кто-то может за ней наблюдать. Как и сейчас, в таких случаях, Аня старалась держаться подальше от фонарей. Это не помогает, но во всяком случае немного утешает.

Дорогой она вспомнила, что забыла поставить телефон на зарядку, и пока Аня доставала его из кармана, успела обрушить на свою рыжую голову множество бранных слов – удивительно быстро, как скороговоркой и не повторяясь. Хватило бы и половину из того, как она себя обругали, потому как не так все и плохо – еще половина зарядки. Не хорошо, конечно, и этого мало, но вполне сойдет, если экономить заряд.

Аня спешила на этажку и уже свернула с улицы Ветхая в переулок – по нему метров двести, потом направо, а там уже и покажется мертвый череп великана. Проходя переулком, Аня слышала какое-то странное цоканье – слишком необычное для этого места. Она припомнила этот звук, но слышала его не здесь, а кажется, на Речной. Цоканье раздавалось все отчетливее и как бы нарастало, удваивалось и утраивалось с каждым шагом. Аня быстро огляделась влево, вправо, а потом обернулась назад. В ее сторону бежала стая собак – обитателей Речной, столь ей знакомых. Но сюда они никогда не заходили, Аня то знает – лучше нее никому не ведом этот город.

Испугавшись, Аня прижалась спиной к стене дома, будто от этого она станет для собак менее заметнее. Возникло ощущение, что ее сейчас застали на чем-то непристойном, на какой-то невинной, но омерзительной шалости. Странно то, что там, на Речной, она могла спокойно наблюдать вблизи, как эти собаки бегают, что-то ищут, лаем переговариваются между собой; одну она как-то даже гладила, а теперь... Теперь Аня испугалась, словно это уже не те псы, и они далеко не ее друзья, как она себе фантазировала.

Пробегая мимо, все, кроме одного, как не заметили ее присутствия, будто Аня

действительно стала для них невидима. Тот же, единственный, оскалил на нее зубы: не останавливаясь, на бегу, посмотрел на Аню и зарычал, глядя в ее сторону. Когда стая скрылась из виду, Воскресенская, стыдясь своей трусости, ругая себя за нее, злая и хмурая лицом, продолжила идти к этажке, по прежнему держась стороной округлых островков света фонарей.

Через минуту, свернувши и уже подходя к черепу гиганта, Аня замерла. Где-то на короткое время затерявшись, на дорогу вновь выбежали собаки – подбежали напрямик к забору этажки: крутились, бегали, некоторые обнюхивали ржавую сетку. Одна из них громко зарычала, звучно гавкнула – второй, третий раз; и залилась стая собачьим шумом и гамом, неистово лая на забор, на постройку поодаль от него. Метались, гавкали, рычали псы, словно презирая и боясь черных глаз черепа, нависшего над немощным городком.

Увлеченные чем-то незримым, только им ведомым, собаки не заметили проскользнувшую влево вдоль забора Аню. Только минует она лазное место забора, в кровь тут же вливается порция холодного страха, от которого слабеют ноги, а сердце заводится как от адреналина. А вдали собаки все лают, и видит отсюда Аня, как они продолжают бегать не стоя на месте. Ей это не нравилось, и псы уже надоели – поднимают шум, почему зря.

– Уроды, – как всегда сказала она, злобно косясь на зверей под светом фонарей.

Не хотелось сразу заходить внутрь. Она пошла кругом, обходя череп и по началу всматриваясь в редкие черные глазницы гиганта. Но быстро поняла, что скорее Аню кто-то увидит, нежели она, если, конечно, есть кто в этой непроглядной тьме. Должны быть – иначе Воскресенская не пришла бы сюда в такое время. Столько мусора в этой мертвой бетонной коробке: окурки, бутылки, шприцы и детские игрушки, которые иногда замечала Аня.

А собаки все рычат, гавкают, надрывают свои глотки, но когда Воскресенская, обходя, проходила со стороны дороги, где суетились псы, они умолкли; все разом посмотрели на нее, как бы спрашивая: «Что ты здесь делаешь? Зачем ты, глупая, туда пошла?» Одна собака подбежала вплоты к забору и жалобно заскулила, словно умоляя Аню убежать оттуда, скрыться. После, встав на задние лапы уперлась передними в сетку и продолжила гавкать, но уже по другому, без страха и ненависти: обращаясь к Ане как к другу.

– Еще твоей жалости не хватало, – сказала Аня и подняла первый попавшийся камешек под ногами, занесла его над головой, но не бросила; скинула его обратно на землю и пошла внутрь этажки.

Очень не хочется, но придется идти внутрь. Может кого и найдет Аня; не зря же приходила. Сжав рукоятку ножика в кармане куртки, она включила тусклую подсветку телефона и перешагнула через порог, из темени вступив во тьму.

– Ты не виноват, – осторожного ступая, стараясь не нарушить застоявшуюся тишину, говорила себе Аня. – Бедный, тебе приходится жить в грязи, которой мы испачкали... и продолжаем пачкать землю. Заперт с нами, как в клетке. Чем я тебе помогу? – продолжала она, всматриваясь в тусклый свет под ногами.

Когда бормочешь себе под нос, тишина и мрак теряют силы и не могут проникнуть в сердце. Шепот лишает их могущества – это Аня заметила давно, совершенно случайно. Вечером же здесь особенно страшно, и без шепота и отвлеченных мыслей, казалось, она не выдержит, и тот час убежит, или, что хуже: мрак и тишина в краткие мгновения возьмут над нею вверх и она замрет, станет неподвижно посреди, не двигаясь и почти не дыша. Но ей приходилось периодами останавливаться и прислушиваться: вот бы чей раздался голос, или хотя-бы шорох.

Подходя к лестнице, ведущей навверх, она продолжала разговаривать с собакой, которая осталась за забором.

– Я тоже заперта, хоть и человек. Ты не смейся, мне от самой себя противно. – Ступала она по ступенькам вверх. – На твоём месте я бы убежала отсюда – из этого города. Ты тоже, наверное, видишь, как он надевает маску, закрывается ширмой. Он становится приличным, как все эти приличные лицемеры. Уходи. Беги отсюда, друг, – сказала Аня и заметила, что уже дошла до лестничного пролёта второго этажа. Она замерла, прислушалась – никого. Словно замороженная она стояла и слушала – проникала в тишину. Казалось, тишина хочет что-то сказать Ане. Опомнившись, Воскресенская дернулась, словно выбиваясь из невидимых рук, облепивших её разум. Нельзя стоять и слушать пустоту! Надо идти дальше, либо уходить. Ясно, что здесь никого нет, а если и есть, то его уже забрали тишина и мрак, и теперь человек этот не принадлежит этому миру.

Второй этаж. «Давно я не была там», – мелькнула мысль. Её интересовала не сама комната, а рисунок Наумова, сделанный им за месяц до смерти. Он очень гордился этим рисунком, всякий раз находя повод заговорить о нём, посветить фонариком и объяснить некоторые детали, постоянно пополняющиеся новыми и новыми смыслами. Но Аня мало чего понимала из его слов, так как к тому времени была уже изрядно пьяна, последовательно опустошая бутылку портвейна. Наумов то предпочитал водку и его юный, крепкий организм переносил её вполне стойко.

Желание уйти и как можно скорее покинуть эти холодные стены схлестнулось с тягой посмотреть, обновить в памяти, своего рода прикоснуться к рисунку и, возможно, вспомнить некоторые объяснения Наумова, что, конечно, на вряд-ли. Страх нарастал в разы от воспоминаний, когда-то вынесенным убегающей из комнаты с истошным криком со свечой в руке Аней. Тогда она чудом не сломала руки или ноги, без оглядки выбежая оттуда.

Аня присела у стены и пока холод медленно пробирался к спинному мозгу, она пыталась разобраться – какое из двух желаний сильнее. Но медлить было нельзя – с каждой секундой молчания, находясь в покое без движения, Аня становится рабой, собственностью черепа и его внутреннего мрака, его абсолютной тишины. Она быстро встала, зажгла подсветку телефона и вышла в коридор налево – там истошно вопящая молчанием, режущая тьмой глаза комната; там воздух придавливает плечи и грудь.

Слева сплошная серая стена. Справа чередуются черные дверные проемы, словно ведущие в абсолютную пустоту, из которой нет выхода. Разгоняя кровь, в ушах стучало беспокойное сердечко Ани. Руки дрожали – пришлось сжать телефон во влажной ладони, чтобы не выпал. Она вздрогнула, остановилась, снова замерла. На полу, почти у самых её ног, кукла в синем платице: улыбается, смотрит на Аню своими голубыми глазками. По коже пробежал мороз.

– Чтобы вас..., – начала Аня, но осеклась и пошла дальше, все ещё ощущая в груди вонзившееся холодное жало страха.

Последний дверной проем – это она, комната. С минуту Аня стояла, глядя на черную бездну, представшую перед ней. «Туда можно зайти, но не всегда выйти», – пронеслась мысль в голове. Главное, держаться подальше центра; рисунок где-то слева посередине стены.

Аня перешагнула порог и сразу же повернула налево освещая стену подсветкой телефона. Сначала стена пустовала, но через несколько шагов появилась красная надпись:

«Не ты! Он наш царь», а за ней черная голова козла с прямыми в стороны рогами, оттопыренными ушами и острой бородкой; глаза были небрежно закрашены красным цветом. Кресты: равносторонние, перевернутые, черные и красные цветом. Сверху сползали извивающиеся змеи, будто бы они выползали из своего логова на потолке. «Ты пришел зря, – гласила следующая надпись. – Спасения нет». Пауки, кое-где человеческие черепа. Змеи все сползали с потолка. «Пустая надежда. Обман», – размашисто, черными печатными буквами. Уродливые, перекошенным рожом: некоторые с рогами и больше похожи на животных: свиней, собак, лошадей. Красный перевернутый крест. Скелет на тощем черном коне, под ним надпись: «Так закончится история». «Павший», – следовало после всадника.

Вот он – рисунок! Черный ангел с метр вышиной. Раньше казалось, что он смотрелся на стене более отчетливо, теперь же ангел какой-то блеклый, будто спрятался под слоем пыли. Словно в мантии, ангел стоял в рост, узко расставив ноги. Крылья его, как обессиленные, чуть разведены в стороны, а голова отчаянно склонилась к рукам, которые ангел опустил вниз ладонями к зрителю, показывая что ничего в них нет: не победоносного огненного меча, разящего тьму, ни свитка – благого послания к людям на земле. Аня вспомнила: ангел пришел ни с чем – так и объяснял ей Наумов, тяжело стоя пьяным на ногах у рисунка и побивая фонариком по рукам ангела. «А здесь упавшая слеза», – тогда добавил он, указывая на маленькую точку у ног ангела. «Это последняя слеза», – припомнила Аня из многочасовых пьяных объяснений Наумова.

Все это: комната, ангел, пугающая тишина, навевают множество жутких воспоминаний, ставшими таковыми одним единственным днем. Воскресенская собралась уходить, но порой, страх, становясь сильнее и проникновеннее, перестает отталкивать, но притягивает свою жертву, как завораживающие глаза ядовитой змеи – она броситься, вонзит свои клыки, но это ничего; за то как манят ее острые глаза – не оторваться.

Тяжело дышать – воздух все более сгушался. В глазах темнело и блеклый свет от телефона стал тускнеть. Сердце редко, но как молотом ударяло Аню в грудь, словно отчаянно предупреждая ее, но она не слушалась; она редко, почти никогда не слушает свое сердечко, часто покрывающееся инеем. Опустив дрожащую от напряжения в шее голову, Воскресенская, смотря себе под ноги, пошла в центр комнаты. Ее мучил вопрос: там ли еще то, самое страшное, самое пугающее, отравившее Ане жизнь?

Увидев разбросанные по полу кирпичи, Аня в ужасе хлебнула густой воздух комнаты. Тело заколотило, ноги готовы кинуться к выходу, в руке заскрежетал стиснутый телефон. Она подняла подсветку и в ту же секунду по ее щекам потекли две капли похолодевших слез. Как и тогда: толстая петля уходящая концом в мрак потолка, как свисающая из пустующей бездны отчаяния и безнадежности; страхом перед жизнью она неподвижно нависла над Аней.

Сердце Ани дрогнуло. Инстинктивно она отшатнулась несколькими шагами назад, но опомнившись, побежала прочь – быстро, как только могла, почти не смотря себе под ноги, пиная стеклянные бутылки, с грохотом отлетающие к серой стене. Правой ногой она наступила на лицо куклы, перекосив ее улыбку на нечто похожее на крик с озлобленными глазками. Убегая по лестнице, Аня за что-то зацепилась ногой и чуть не упала вниз.

Стук сердца отдавался в ушах, воздуха все больше не хватало, ноги бежали сами собой. Спрыгнув с лестницы, Аня, не сбавляя темпа, побежала к выходу, но споткнулась, полетела на пол, больно ударившись коленями и расцарапав себе ладони о шершавый бетонный пол. Телефон отлетел в сторону метра на два. Ни секунды не думая, Аня вскочила, на лету

подняла телефон и выбежала из этого проклятого места, поклявшись, что больше сюда не вернется.

Восемь дней, полноценных учебных дней, минуя выходные, Федоров приходил в школу разбитый и не выспавшийся. Появившиеся синяки под глазами день от дня только росли, а взгляд начал терять выразительность. На лице его просматривались признаки мучительной думы, отразившиеся на гладком лбу с парой четких морщин. Ночами он стал плохо засыпать, все думая и размышляя, сопоставляя факты и наблюдения, анализировал события, произнесенные слова и выражения со всех сторон сряду, да так, что истощаясь от нескончаемых дум засыпал крепким сном. Ему, конечно же, казалось, что именно этим он и занимается, но пройдет время и, если Федоров когда-то вспомнит этот период своей жизни, то поймет – должен понять, – что все это были только юношеские мечты.

Сам черт и ангел уже запутались, как в отдельности, так и вместе, что там вообще надумал их искушаемый и подопечный. Знала бы Аня, как далеко уплывет брошенный ее удочкой поплавок! Не только в мечтах, но и теперь в планах Федорова построено большое будущее, где Аня заняла «завидно» блистательную, на первом плане роль. Так сказать, бросала Аня крючок за чисто мужскую природу, но Иван, чуток поварившись в пред сонных грезах, ни в коем случае не отвергая саму эту природу, налепил на нее много всего лишнего.

Удивительно, как сам образ Ани поменялся в его глазах. Федоров будто бы прозрел и увидел настоящую, естественную красоту, которой излучалась Аня в огненно-рыжем окрасе. Надо заметить, что Воскресенская действительно не так и дурна собой. Наружностью, чертами лица, конечно, она не эталон модных тенденций, но потому то и красивее, что красота то ее как раз таки естественна, в некотором роде своеобразная, не по выдуманному образцу, а своя, неповторимая, индивидуальная, сугубо Анина красота – на все века сотворенная в единственном экземпляре. К слову сказать, если даже покажется, что Аня и вовсе не симпатична лицом, то во всяком случае никто не имеет права отрицать очевидное: прекрасные, яркие, пышные волосы Ани, и действительно выразительные, сказать бы по другому, но именно красивые светло-зеленые ее глаза. Жаль только, что волосам своим Аня не уделяет необходимого внимания, а на глаза постоянно насупливает брови, да и строит она глазки свои часто злющими, как у одичалой городской кошки.

Но какая стала Аня в воображении Федорова – сложно себе представить; да и сам Иван не смог бы того выразить словами. Но вдруг, неожиданно, в несколько дней Воскресенская так преобразилась, что стала чуть ли не по всем показателем девушкой превосходной и необыкновенной. Глаза и волосы – это отдельная эпическая песнь, но на этом его грезы не останавливались, всесторонне преображая натуру Ани: губы изысканны, маленький носик аккуратен, и шея ее стала элегантною, как у античной статуи.

Передумав и нафантазировав до небывалых пределов, Федоров, томившийся неразрешенной ситуацией, все же не выдержал и уцепившись за крючок, потянул за леску.

– Аня, – впервые назвал ее по имени. – Ты это тогда по-правде сказала? – Он приблизил свое лицо к склонившейся над тетрадкой Воскресенской.

– Про что? – не отрываясь, без всякого интереса спросила она.

– Ну.., – не знал он как начать. – Ты же тогда сама говорила...

– Очень хочется, да? – Подняла она голову и ехидно ухмыльнулась. – Уже жмет что-ли? – спросила она и стала пристально смотреть в его глаза.

– Значит смеешься, – обидчиво отвел он глаза. – Понятно.

– Нет, я не шутила, – повернулась она к тетради, ручкой продолжая аккуратно выводить строчку стихотворения. – Ты мне, я тебе. Все очень просто, только соображаешь ты как всегда туговато. Сколько ты думал? Недели две?

Федоров снова прильнул к парте, ровняясь с лицом Ани.

– Ты действительно хочешь отношений? – сказал он с интонацией в голосе, будто приближался к вековой тайне.

– Что-о? – вытянула Аня, повернувшись к нему. Лицо ее брезгливо сморщилось, а приоткрывшийся рот застыл в вопросительно-высокомерном тоне. – Отношений?

– Ну да! – не сдержал он улыбки, на фоне блеснувших в надежде усталых глаз.

В считанные мгновения Аню покорило, передернуло и затрясло. Внутренняя дрожь презрения постепенно перешла в плечи и руки; шея ее напряглась, а глазки от избытка отвращения сузились, будто ей пришлось наблюдать перед собой извивающегося в кольцах червяка.

– Отношений? – словно не веря услышанному, повторила она, совсем не изменившись в лице.

– Я понимаю, ты немного перепутала. Начала тему с конца. Я прав? Но ведь ты это имела в виду? За эти дни я очень хорошо все обдумал.

– Да, – сквозь сомкнутые зубы и словно вздыбленные губы нехотя ответила Аня. После, быстрыми, краткими движениями руки, раздражительно поморщившись и плотно сомкнув рот, она начала чесать ссадину на левой ладони. Раны от падения на этажке уже стали заживать и чесались иногда невыносимо, что выводило Аню из себя.

По налившемуся румянцем лицу Федорова и от умиления помокревшим его карим глазами – от чего Аню охватил приступ тошноты, – она поняла, что «туповатый» сосед ее «совсем не догоняет» и «надумал себе какую-то несусветную хрень», но надо было соглашаться и на эти, как он выразился – отношения, потому как «объяснять бесполезно». Хочет думать об отношениях, рассуждала она, пускай себе думает; что хочет пусть думает, лишь бы не срывался с крючка.

Ничего не сказав, Иван откинулся назад и стал всматриваться в классную доску, принявшись вновь обдумывать, анализировать, сопоставлять, как все это ему виделось. От этой реакции Аня недовольно забегала глазами, а после сама вернулась к тетради, верно решив, что «этот уже никуда не денется».

– Но раз отношения.., – услышала она над собой.

– Слушай, ты! – дернулась Аня, но быстро взяла себя в руки, сбавив тон. – У меня условие. Понимаешь? Я же тебе говорила, – нетерпеливо проскрежетала она. – Сначала выполнишь мою просьбу! Понял?

– Да ты не нервничай, – сказал он, и стараясь произнести нежно, демонстрируя свою симпатию, все же неуклюже добавил: – Аня.

– Я не нервничаю, – зашипела она. – Условия! Понял?

– Да понял я, понял, – отмахнулся он, откинулся назад и через секунду опять поравнявшись с Аней головой, сказал: – Получается так. Теперь ты моя девушка, правильно?

Даже тяжелые слезы от бессилия подступили к скулам. Аня крепко сжала кулачки, чтобы только не сорваться и не высказать Федорову все свое о нем не лестное мнение, тем

самым оборвав собственную леску, ею же заброшеную. К счастью, на помощь пришел школьный звонок, спасительно забивший молоточком по округлой чаше, разнося долгожданный звон по коридорам школы.

Одним движением руки Воскресенская смела все свои вещи с парты и бросив их в сумку, первой выбежала за дверь кабинета, напрямик во дворик, чтобы разом выкурить три сигареты.

У Федорова началась новая жизнь! У него появилась девушка. Кто бы мог подумать... Иван и не мог себе представить, что в жизни случаются такие неожиданные повороты! Для него, жизнь – это реализация запланированного будущего, а тут еще и такие приятные неожиданности! Одно только омрачало его восторженные чувства: все же это Воскресенская – странная, жутко нелюдимая, нелюбимая школой и классом, с плохой репутацией хулиганки троечница Аня. К тому же, его девушка – нищая Воскресенская! Как не посмотри, а не чета она ему – обеспеченному, умному и прилежному ученику, душе компании с отменной репутацией, и не только в школе. Но об этом сейчас думать не хотелось и мысль эту он старался отбросить тут же, как мелькнет она на горизонте сознания. Не к спеху, можно и потом. Зачем омрачать «возвышенные» чувства? – считал он.

2

Повторяется это постоянно: периодами через три или четыре недели, но, как заведенный обычай – обязательно произойдет. Как всегда, во вторник днем, стучится Аня в дверь дома Веры Ивановны, и ни хриплого отклика в ответ, ни тем более шарканья ее больных ног. «Померла», – тут же пробежит холодное, бесчувственное слово. Ни единая струнка ее души не подрагивала при этой мысли, потому что за ней, следом: «оно и к лучшему». Воскресенская убеждена, что поторопись в случае Веры Ивановны смерть, так это только на благо увядающей женщины – по факту одинокой старухи, единственным утешением которой стала водка, приносимая ей каким-то Василием, или Аней по вторникам. Больше у нее ничего не осталось: все ушедшее потащило за собой Веру Ивановну, с ее мыслями и чувствами, сделав ее своеобразным подобием мумии. Казалось бы, появление маленькой рыжеволосой – правда, часто хмурившейся – девочки, было бы отдушеной оставленной женщины, но за видимой радостью и этой милой улыбкой ничего не было – одна лишь привычка.

Вере Ивановне очень не нравилось, когда Аня проникает в дом минуя дверь – через окно кухни, которое не закрывается из-за отсутствия щеколды на ней. Но добровольной ее рыжей благодетельнице прощалась эта сушая мелочь. Кто же так исправно будет навещать Веру Ивановну, покупать ей продукты и при случае делать уборку? Во всяком случае, пока Аня ходит, у нее было немного спокойнее на душе.

Еще не подойдя к порогу, разделяющему кухню и комнату Веры Ивановны, Аня услышала сопение. И так было всегда, когда приходилось лезть в окно – спит. Тогда она прошла обратно на кухню и убедившись, что в отличии от водки, в доме дефицит продуктов, Аня вернулась в комнату и поставив скрипучий стул напротив окна, спинкой к нему же, села сложив запястия друг на друга, а на них мечтательно опустила голову. Взгляд простирался вдаль – к лесной полосе. Там могила Норда. Давно Аня не была на ней – надо бы сходить. А

стоит? Зачем тревожить приятный сон старого доброго пса? Животные достойны лучшей участи, чем люди. Не звери оскверняют землю своими показными приличиями, мелкими эгоистичными желаниями; не на них возложена ответственность, которую люди пренебрежительно стряхивают с себя и стараются забыть.

Вот к Наумову Аня пойдет – уже сегодня пойдет. Он предал ее, оставив одну в этом мире; оставив наедине с Судьбой в не равном, но вынужденном противостоянии. Но Аня уже решила, дала клятву проливая свою кровь, что не уйдет просто так и не будет смиренно дожидаться все новых напастей со стороны Судьбы; не будет, толкаемая ею, ступать босыми ногами на острые камни. Да, ей придется идти – она это знает, но отныне за каждый этот шаг будет мстить, вновь и вновь. Аня еще станцует свой макабр, спляшет на костях с мертвецами, только не как Наумов – не на своих костях. Аня еще сравняется с Судьбой, станет равной непоколебимой Смерти, и в ту же минуту посмотрит на бледную ухмыляющуюся Луну – маску Судьбы – и скажет: «Смотри! Не узнаешь? – посмеется Аня. – Это же я – твоя дрянь, твоя скверна! Смотри, что я сделала!»

Да, она еще посмеется – настанет время и Аня отомстит за все. Почему она кому-то должна оставлять шанс, если ее саму, с самого рождения лишили его: породили в скверне не дав возможности выбора? Зачем ей кого-то жалеть? Аню ли кто пожалел; по-настоящему пожалел, как надо: дал шанс, облегчил жизнь, размыл границы противоречий, или избавил от непосильного груза на ее худеньких плечиках? Никого Аня не будет беречь, и если необходимо, то взберется на холодные, бледные тела кого угодно, даже Ленки, чтобы получше разглядеть Луну! Она непременно встанет во весь рост, и станцует, чтобы сама Судьба и Смерть видели как может Аня; как смертная дрянь и скверна может стать равной им – могучим и вечным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Купить полную версию книги - <https://knigoed.net/url/53o>